

ДМИТРИЙ БЫКОВ

русский

пионер

ПЕСНЬ
ЗАПОЛЯРНОГО
ОГУРЦА



Библиотека
Русского
пионера

О литературе,
любви,
будущем



ДМИТРИЙ
БЫКОВ

ПЕСНЬ
ЗАПОЛЯРНОГО
ОГУРЦА

ДМИТРИЙ
БЫКОВ

ПОПУЛЯРНАЯ
ПРОЗА и
ПУБЛИЦИСТИКА

**ДМИТРИЙ
БЫКОВ**



**ПЕСНЬ
ЗАПОЛЯРНОГО
ОГУРЦА**



МОСКВА
2019

УДК 821.161.1-4
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
Б95

Художественное оформление *С. Власова*
Литературный редактор *Е. Кевхишвили*
Макет *О. Лёвкина*

Быков, Дмитрий Львович.
Б95 Песнь заполярного огурца. О литературе, любви, будущем / Дмитрий Быков. — Москва : Эксмо, 2019. — 320 с.

ISBN 978-5-04-099112-9

Писать в «Русский пионер» Дмитрий Быков начал три года назад и, как многие авторы этого издания, печатал там в основном то, что напечатать где-нибудь ещё было невозможно.

Эта книга — откровенные и смелые высказывания на заданную тему. Дмитрий пишет о литературе, любви, будущем и много ещё о чём.

Каждая новая страница — часть одной большой системы, структуры, сети: какой — поймёт внимательный читатель.

УДК 821.161.1-4
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

© Быков Д., 2019
© Оформление.
ISBN 978-5-04-099112-9 ООО «Издательство «Эксмо», 2019

Содержание

От автора	7
Пенсионная Россия	13
Отчуждающие	25
Песнь заполярного огурца	41
История русского соблазна	50
Свежий воздух	71
Лекция о валюте	83
Как я провел жизнь	96
Два дома	99
Sans titre	121
Упорный Дикой	134
Голем	152
Синдром	171
В жанре кала	182
Гог и Магог-2013	192
Lear, we are fun!-2015	204
Сеть	213
Лекция о чуде	231
Только не суицицца!	242
Хорошо	250
Компромисс	259
Асфальт на закате	268
В духе Брэдли	282
За кулисами	299

Публикации в «Русском пионере» имеют для меня особое значение. Собственно, и статус «Пионера» в русской журналистике особенный. Общеизвестно: если прибавить к любому понятию определение «русский», выходит немного как бы троллинг, то есть издевательство. Или по крайней мере некоторый сдвиг по отношению к общепринятому: русский бизнес — это не совсем бизнес, русский размер — это размер, не лезущий ни в какие ворота, ну и русский пионер — это журнал «Пионер» тех времен, когда без слова «русский» просто неприлично было выйти в люди.

В некотором смысле он действительно восходит к журналу «Пионер», где лучшие дети, школьная элита, рассказывали о своих приклю-

чениях, увлечениях и хобби. Пионеры подросли и стали элитой постсоветского общества, то есть действительно первыми. Но увлечения у них по-прежнему остались, а главное — им по-прежнему хочется рассказывать о себе в журнале. Только это должен быть очень хороший журнал, адресованный именно им и таким, как они.

А еще они пионеры потому, что девиз пионера «Будь готов!». И они действительно всегда готовы. Ко всему. Это очень чувствуется в их текстах. Это тексты людей, находящихся как бы по другую сторону, за гранью дозволенного и возможного. Мне кажется, в России очень правильно быть готовым. Как и находиться за гранью дозволенного, если получится.

Этот журнал возглавляет Андрей Колесников — по моему глубокому убеждению, журналист номер один, признанная звезда кремлевского пула. Его Путин видел, как повествуется в одной из лучших его книг. Он сделал невозможное — научился писать о Путине смешно, но так, чтобы смешно было и самому Путину. Он успел укоренить, так сказать, легитимизировать этот стиль в те времена, когда Путин еще не был единственным гарантом существования России, когда он не вполне забронзовел и даже

ценил в подчиненных некоторую дерзость. А теперь и Колесникову уже поздно меняться. Как пронизательно заметил Виктор Пелевин, в России первоначальное накопление является также и окончательным — то есть кто чего успел хапнуть в момент перемен, тот с тем и останется на всю стабильность. Колесников успел закрепить за собой право писать вот так, с долей здорового абсурда, иногда на грани фола, и теперь им обоим — ему и Путину — уже поздно меняться. Не побоюсь сказать, что Колесников — последний привет нам из тех времен, когда власть еще считала, что опираться надо на профи. С тех пор профи вытеснены почти из всех сфер, в том числе из журналистики, и заменены на идейно своих, классово близких и физиогномически родственных. Но Колесников остался. Наверное, потому, что им действительно весело его читать. Они же вообще веселые ребята, любят пошутить и наверняка в своем кругу от души хохочут над всякими там скрепами.

Колесников перезнакомился со всеми первыми лицами и решил делать про них журнал. Не только про министров и олигархов, разумеется, а про лидеров общественного мнения, культурных героев и духовных вождей. Он собрал по своему вкусу лучших журналистов, знакомых

ему еще по «Столице» — очень недурному журналу. Привлек Андрея Макаревича и даже Марлена Хуциева, который в свои 92, дай Бог ему здоровья, пишет динамичнее многих молодых. Как бы лучшим — лучшее, избранным — избранное. Печататься в этом журнале стало престижно даже для тех, кто уже выше любых понятий о престиже; для тех, кого простому человеку было бы сверхпрестижно поцеловать страшно сказать куда. Но они там печатаются, и журнал «Русский пионер» будет успешно существовать даже тогда, когда здесь вообще не останется ни бумажной прессы, ни прессы, ни бумаги. Я даже думаю, если у последних граждан России будет выбор — напечатать на последнем рулоне бумаги немного денег или последний номер «Русского пионера», они выберут «Пионер». Потому что деньги у них есть и так, и от них уже не будет никакого толку.

Я попал в этот избранный круг, в общем, случайно. Я ничего не делаю для того, чтобы понравиться избранным читателям, и не уверен, что нравлюсь им, но мне очень симпатична большая часть пионерских колумнистов — скажем, Бильжо, или Ольга Аничкова, или сам Колесников, чьей дружбой я горжусь без всякой иронии. И мне нравится колесниковский способ проверять качество текстов: он устраивает так

называемые пионерские чтения, во время которых авторы читают свои опусы вслух. Это замечательный контроль качества: чтение вслух выдерживает далеко не всякий текст. Однажды Лев Толстой услышал — ему уже было лет 80, — как семья вечером читает какую-то прозу, прислушался и подошел поближе: удивительно хорошо написано! Оказалась «Анна Каренина». А если слушать такое чтение скучно, то, значит, и писать не стоило.

Номера «Пионера» строятся по тематическому принципу, вокруг какой-нибудь глобальной и абстрактной проблемы вроде нефти или связи; это не только дает журналу конкретного рекламодателя — тоже дело в наше время не последнее, — но и заставляет колумнистов поупражняться в свободном ассоциативном мышлении, в поиске прихотливых сюжетных поворотов. Я очень люблю фантазировать на вольную тему, потому что какой-то дисциплинирующий контроль нужен всякому сочинителю — будь то заданная тема для импровизации, объем, формат или запрет. В «Пионере», кстати, запретов нет. Элите в России действительно многое позволено. Самым свободным лагерем в СССР был «Артек». Да и оппозиционеры тут обычно куются из числа элиты — у них есть чувство собственного

достоинства, они не всегда позволяют наступать на свои интересы, у них есть образец в виде декабристов или диссидентствующих академиков. Так что для «Русского пионера» я стараюсь писать хорошо. И поскольку это пишется на заданную тему, то выходит обычно более откровенно, чем даже в стихах: работая в формате, проговариваешься непреднамеренно и потому искренне.

Мне кажется, «Пионер» — последний по-настоящему свободный журнал нашей эпохи. Там даже Путин печатается. Я не склонен считать его самым свободным человеком нашей эпохи, да и самым безнаказанным — вряд ли. Но ему пока можно больше остальных. Здесь собраны очерки и рассказы, в которых я тоже позволил себе чуть больше обычного — не в политическом смысле, а вообще.

Будьте готовы!

ДМИТРИЙ БЫКОВ

Любому новому человеку, который придет к власти в России, будет очень трудно.

Трудно ему будет независимо от того, как он к ней придет. Законным путем, посредством выборов, в результате назначения, престолонаследования или визита инопланетян. Визит инопланетян даже более вероятен, чем смена власти на выборах, поэтому зарекаться нельзя ни от чего, но и самому легитимному, самому любимому наследнику будет очень трудно. Особенно трудно будет тому, кого вознесет волна народной любви. Народ немедленно потребует соответствовать своим чаяниям, а чаяния у него меняются по настроению. Надо будет сразу показать доброту и одновременно силу, открутить гайки и показать, что распускаться нельзя, помило-

вать всех политзаключенных и немедленно расстрелять, чтобы народ понял, с кем имеет дело. Так что первый шаг нового правителя России — подчеркиваю, нового, а не старого в новом статусе, — должен продумываться заранее, очень тщательно; я даже думаю, такой шаг может быть единственным. В 1990 году я интервьюировал в Токио японского премьера (тогда уже бывшего) Накасонэ и спросил — какие ошибки, по его мнению, делает Горбачев. «Никаких, — ответил хитрый японец. — Потому что в сложившейся ситуации ему остаются единственные ходы». Подозреваю, что предлагаемая программа — единственная, у которой есть шанс понравиться всем. Более того, она абсолютно выполнима. И еще более того — все остальные уже доказали свою невыполнимость. Так что если вы меня послушаете, успех я вам гарантирую. И все это совершенно бесплатно, потому что в прекрасной России будущего, подсказывает мне интуиция, лучший приз — это удаленность от власти.

Итак, программа «Пенсионная Россия».

Так же, кстати, будет называться и партия власти, приниматься в которую будут все без исключения по достижении пенсионного возраста. О пенсионном возрасте чуть ниже.

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ. В любой стране приживается только то, что соответствует ее психологическому возрасту. Возраст страны тоже существует, это обосновал Шпенглер в «Закате Европы» и повторил Лев Гумилев в своей беллетристике. Россия сейчас на пенсии. Для нее характерны все черты пенсионера, а именно:

1. Она хочет ничего не делать, и чтобы все ее за это уважали. Она уже поработала, теперь имеет право. Предки полили ее потом, кровью, вообще всем, завоевали огромные территории, теперь она может качать нефть и почивать на ней.

2. У нее все в прошлом. В нем она имела великие заслуги — культурные, научные и военные. Теперь ее главное занятие — напоминание об этих заслугах, борьба за них, постоянное перечисление обидчиков, желающих переписать ее трудовую книжку. Когда-то она была ого-го, сейчас весь ее статус удерживается на великих воспоминаниях, и все родственники почтительно склоняют головы перед этими заслугами. Что и как там было — никто копать не хочет, хотя есть основания полагать, что имеются некие старческие преувеличения по части альтруизма и героизма, что кое-какие подвиги очень сильно мифологизированы, а некоторых просто не бы-

ло. Но надо быть конченной сволочью (sic!), чтобы теперь копаться в прошлом старого человека, на чьих легендах и мифах о собственном величии выросло несколько поколений его детей и внуков. Отнимать у них память об этом постоянном брожании, отравившем их детство, как минимум бесчеловечно.

3. Как уже было сказано, она все время бродит. Ей все не нравится — Восток, Запад, свои, чужие, — потому что в душе она сама ужасно себе не нравится. Она плохо помнит, какой была, но ясно сознает, что была не такой. Ей невыносимо это новое состояние, она привыкла, что она в статусе молодого варвара и все ее уважают за эту прекрасную дикость, — теперь варвар тоже пошел не тот, да все не то! Никто не вызывает у нее одобрения, а больше всего она ненавидит неблагодарных родственников. Налицо главная примета некрасивой старости — бесконечные тяжбы с родней, которая хочет жить отдельно.

4. Старческое скопидомство. У старости всего очень мало, в особенности денег. Резервы есть, но невозобновляемые. Тратим только на то, чтобы произвести впечатление. Например, созовем гостей, нажарим, наварим на десятерых, хотя

придут трое, остальные нос воротят. Потом месяц доедаем и выбрасываем, еще месяц во всем себе отказываем.

5. Страх и враждебность относительно всего нового. Цепляемся за старые вещи и обычаи, новыми пользуемся, как айфоном, но скрыто ненавидим. Шпионим за домашними — не пишут ли они в этом айфоне чего-то крамольного. В новой стиральной машине обязательно сидят жучки или просверлены дыры коварными изготовителями. Новый диван не покупаем, хотя в старом клопы. Но это наши клопы, в них наша кровь, которую проливали наши деды.

Все перечисленное превращает Россию в классического старца, который во вчерашнем дне не уверен, сегодняшний ненавидит, а о завтрашнем не думает вовсе, потому что его может и не быть. Успех реформатора здесь может быть связан только с пенсионной реформой, и потому она — последнее, что несколько взбудоражило засыпающую в деменции страну. Она не готова выходить на улицы за вещи, нужные молодым, — здоровую экономику, справедливые суды, свободу слова; она все это в гробу видала, поскольку в нем практически и находится. Но пенсия — это не трюж. Пенсия — это последнее, о чем она

беспокоится и за что может полюбить. Поэтому все действия руководства должны быть направлены только на обеспечение старости. В конце концов, детей всегда меньше, чем стариков, и объясняется это просто: вся мировая наука работает над ростом продолжительности старения, и весь прогресс при этом направлен на сокращение детства. Большинство детей, оснащенных айфонами, самостоятельны уже в семь лет, а полную жизнь начинают, едва перевалив за десять; водить машину, самостоятельно готовить и зарабатывать современный ребенок уверенно может в двенадцать. К пятнадцати он готов отселиться и зажить своим домом. Напротив, старость у многих начинается уже в сорок, к шестидесяти стариками считают себя уже все, а жить припеваючи — и даже причитаючи — можно хоть до ста. И если во всем мире люди стареть не хотят и отрешиваются от слова «старик» даже в семьдесят, — у нас так обзывают друг друга и в двадцать, а лихорадочно следить за здоровьем начинают со старших классов. В России старость не позорна, а козырна; чем скорее достигнешь ее, тем раньше сможешь ни за что не отвечать, ничего не делать, постоянно смотреть телевизор и в любом диалоге кивать на великое прошлое. Древний восточный принцип недеяния нигде не обрел такой популярности, как здесь, а уж в Ки-

тае, на его Родине, он вовсе поправ. И потому радикальная пенсионная реформа сможет обеспечить вам в России недолгую добрую память. Недолгую — потому что долгой у старцев не бывает. У них склероз.

МЕРОПРИЯТИЯ:

1. С момента достижения совершеннолетия все население России официально объявляется пенсионерами и переводится на полное пенсионное обеспечение в размере 10 МРОТ. Объясняется это тем, что ущерб государству в любом случае будет меньше, потому что вы сами видите, как они работают. Если даже силовики — традиционные символы профессионализма — стали позволять себе проколы вроде как во всей истории со Скрипалями, чего требовать от остальных? Гастарбайтеры могут и должны полностью обеспечить российские потребности во всех сферах жизни. Учителя не нужны в условиях поголовной интернетизации населения, поскольку все ответы легко найти в интернете, там есть все телефоны, по которым легко заказать необходимые продукты. Обучать тех немногих, кому это действительно интересно, можно за границей. Заграница нам поможет, поскольку в условиях поголового перевода российского насе-

ния на пенсию оно будет представлять гораздо меньшую опасность для остального мира. Врачи могут быть полностью заменены гастарбайтерами или представителями народной медицины, у которых предпочитают лечиться отечественные пенсионеры. Спецслужбы переводятся на пенсию в полном составе. Внутренние враги вербуются на добровольной основе и набираются в количестве 5 на одну единицу сотрудника внутренних органов. Государство берет на себя обязательство двойного пенсионного обеспечения внутренних врагов и регулярный показ их по телевидению в ток-шоу Владимира Соловьева, Дмитрия Киселева и Андрея Норкина. Киселев, Соловьев и Норкин получают 50 МРОТ без права выхода на пенсию.

2. Желающие могут работать, если им уж очень нейдет, но в этом случае штрафуются на 5 МРОТ, чтобы компенсировать ущерб, нанесенный их трудом. Фотографии работающих вопреки тенденциям и законодательству вывешиваются на специальных стендах позора вроде давешних стендов с врагами народа, а раньше — с ударниками производства. Профилактика трудоголизма становится одним из главных направлений воспитания подрастающего поколения.

Специальные лечебно-пенсионные профилактории отлавливают отъявленных. В профилактории привязанных к койкам больных заставляют круглосуточно просматривать советские производственные драмы с последующим пересказом содержания. Для упорных предусмотрена электрошокотерапия. Законодательно изменяется значение слова «тунеядец». Тунеядцами объявляются все, кто работает, поскольку этимология слова — «втуне яст», т.е. зря жрет. Человек ест, чтобы жить в свое удовольствие, а не ради примитивного труда.

3. Срок службы в Вооруженных силах для офицеров сокращается до 5 лет, после чего офицер выходит на пенсию с правом рабовладения. Рабы зачисляются из врагов народа и гастарбайтеров.

4. Гастарбайтер может выйти на пенсию лишь после получения статуса гражданина России, каковой статус присваивается лишь после выхода на пенсию. Исключение составляют рабы офицеров-пенсионеров, которым гражданство предоставляется после получения прописки, которая, в свою очередь, предоставляется после приобретения квартиры. Квартира приобретается после выхода на пенсию — всеми, кроме офицеров

и представителей спецслужб. Внутренние враги имеют специально оговоренные льготы.

5. Гастарбайтеры не имеют права зачисления во внутренние враги, каковой статус присваивается лишь после приобретения прописки.

6. Вечный российский вопрос «Где деньги?» перестает иметь какое-либо значение. Денег будет завались. Весь внешний мир обязан содержать Россию за великие былые заслуги и за гарантированное международными договорами воздержание от новых заслуг. Важным источником денежных средств станет официальная плата иностранных государств за отправку к ним всех выпускников средних школ, чей IQ превышает так называемый госмаксимум, т.е. 100. Таким образом утечка мозгов станет наконец важной доходной статьей.

7. Никакого разоружения! Напротив, производство и применение вооружения становится излюбленным хобби большей части населения. Все производственные площади, а также значительная часть регионов Крайнего Севера и тайги, согласно международным договорам, отдается под ядерные полигоны. Внешнее применение ядерного оружия исключается по секретному

приложению, о котором население не знает. Регулярные ядерные взрывы становятся лучшим средством национальной психотерапии. Почетных пенсионеров, пребывающих на пенсии 30 и более лет, можно поощрить личным нажатием на кнопку с последующим прослушиванием стонов зараженных и раненых из американских кинофильмов соответствующей тематики.

8. При выходе на пенсию каждому пенсионеру вручается телевизор без кнопки «Выкл.», круглосуточно подключенный к сети электропитания. Попытка отключения телевизора карается запретом на получение пайка.

9. Почетный пенсионер имеет право избирать и быть избранным, приобретать и потреблять алкоголь, выезжать за границу и посещать страны, официально уничтоженные ядерным взрывом. Конечно, в его мозгу может возникнуть определенный когнитивный диссонанс, но с высокой долей вероятности ему будет уже все равно.

10. Глава государства выходит на почетную пенсию в момент инаугурации и остается в должности вплоть до физического исчезновения. Журнал «Русский пионер» переименовыва-

ется в журнал «Русский пенсионер» и становится единственным бумажным СМИ, а также единственным местом работы для членов правительства, которые, если захочется, пишут и зачитывают вслух веселые колонки. Их обязанности в это время исполняют гастарбайтеры, поощряемые пропиской.

Автор убежден, что кандидат с такой программой будет избран пожизненным президентом России. В случае его успеха для себя я желал бы только одного — права пожизненного лишения телевизора с сохранением прописки с правом ежемесячной колонки в журнале «Русский пенсионер» и зачтения ее при одновременном потреблении пайка.

Мы были знакомы пять дней, и вышло так, что ей надо было ехать на родину, в южный город, который всегда у меня ассоциировался с помидорами, сушеной рыбой, провинциальной пылью и с одним поворотом на пути из Крыма: прямо было на Запорожье, а направо — на него. Я тогда еще каждый год ездил на машине в Крым, во что теперь трудно поверить, и верный «жигуль» меня ни разу не подводил, и каждый раз, возвращаясь из Гурзуфа, я думал об этом южном пыльном городе как об утраченной возможности. Свернуть бы, продлить отпуск — тоже ведь у моря! Но ни разу не свернул, а то бог знает, как бы все обернулось. Там однажды в полуголодной молодости был мой дед, и запомнились ему поэтому только помидоры и сушеная рыба. Может быть, он там и трахнул кого-нибудь, и мне встретилась теперь

дальняя родственница, потому что такая полнота совпадений, такая страшная тяга — всей кожей к чужой коже — бывает или во сне, или, говорят, при инцесте. То есть не говорят, а пишут — у любимой английской сочинительницы был рассказ о том, как героиня отдается однокласснику отца, не подозревая, что он и есть настоящий биологический отец. Я должен процитировать наизусть, как там это выглядит, потому что зачем же пересказывать?

«Время перестало существовать. Все дело в химическом сродстве тел, вернее, их оболочек — человеческой кожи. Они либо сочетаются и сплавляются в единую ткань, растворяясь друг в друге и обновляясь, либо ничего не происходит, как при неисправной проводке. Но когда механизм срабатывает — а сегодня он сработал, — тогда раскалывают небо стрелы, пылают леса... И пусть я проживу до девяноста лет, выйду замуж за очень славного человека, рожу пятнадцать детей, завоюю всяческие театральные призы и «Оскары», второй такой ночи у меня не будет — не брызнет осколками мир, не сгорит у меня на глазах. Но как бы там ни было, я это испытала».

Три ночи она сопротивлялась, на четвертую сдалась, а могла бы не сдаваться — я не почув-

ствовал никакого утешения; невозможно было насмотреться, наобниматься, натрогаться — при том, что, клянусь, внешне там не было ничего особенного. Интересно было только, что она на меня смотрела снизу вверх, с некоторым испугом и выжидательно, и призналась потом, что очень хотела понравиться и притом страшно боялась этого. Я совершенно точно помню, после какой реплики начал к ней присматриваться и как, собственно, пробежала первая искра — это когда я внимательно взгляделся в глаза, увидел, как они меняют цвет, какие они темно-синие, черные с синими искрами, как мартовская ночь, первая ночь с теплым ветром, с разрывами синевы в тучах; чернильные глаза, как их еще называют, цвета синих чернил моего детства. Дальше все очень быстро шло по нарастающей, и больше всего меня в ней поражала доброта, ненавистное человеческое качество: ненавистное именно потому, что я его почти никогда не встречал и решил от греха подальше возненавидеть по принципу «зелен виноград». Она была очень молода, очень добра, очень отважна — средоточие всех совершенств, короче; она не боялась подставляться, не смотрела на себя со стороны ненавидящим взглядом, полностью мне доверяла, была абсолютно естественна, не стеснялась собственного тела, с абсолютной откровенно-

стью рассказывала обо всех печалях своего детства, без которых не получается нормального человека, — о травлях, страхах, маниях, идиотских суицидных мыслях, школьных предательствах, а больше ей почти и не о чем было рассказывать. И четыре дня мы проболтались по Москве, по всем моим родным местам, и оказалось, что мне почти нечего было ей рассказывать в ответ, потому что я немедленно все забыл, как забываешь армейский рацион после того, как впервые после дембеля пообедаете дома. Ну я, по крайней мере, так устроен. Это, может быть, особое милосердие памяти. Я даже забыл начисто, с какого хлеба и на какой квас перебивался без нее. Мне казалось, что я в жизни уже никого серьезно не захочу, что возраст, пора, в конце концов. Но до этого, как выяснилось, было далеко, а просто я слишком долго довольствовался суррогатами, полужизнью, компромиссом. И я все это забыл. И невозможно было представить, что я буду спать без нее с чужими людьми, с другим человеком. К счастью, у меня были тогда ровные, прочные отношения, не предполагавшие обязательных совместных ночевок, хотя дело шло к браку и непременно им увенчалось бы, и это был бы, наверное, не худший брак. И я даже сочинял что-то, и мне казалось очень уютным сочинять в общей тогдашней съемной квартире, и меня

не смущало чужое присутствие, которого я теперь не мог и вообразить. Все немедленно стало чужим до такой степени, что меня передергивало от любых случайных прикосновений в метро. Это началось сразу после того, как я ее проводил на вокзал.

На вокзале еще было истерическое веселье — мы думали, что у нас полно времени: пошли в ресторан, заказывали что-то, всего этого не оказывалось, и при каждом новом обнаружившемся обломе мы принимались хохотать все громче и даже радовались, кажется, отсутствию всей этой пищи, потому что можно было вместо еды опять обниматься; она улеглась на безобразный плюшевый диван, положила голову мне на колени, принесли единственное имевшееся — напрашивается вымя, но это были пельмени. В меню было написано, что с XV века пельмени триумфально шествуют по Зауралью. Мы вообразили это триумфальное шествие, с флагами, хорутвьями, боевыми криками, — тут я посмотрел на часы и ахнул: срочно заплатили за всю эту несъеденную еду и побежали. «А ты бы хотела опоздать?» — «Знаешь... скорее... бессознательно», — выговорила она на бегу (она не умела и не любила бегать и в этом тоже признавалась очень легко; при всей легкости и худобе нена-

видела всякий спорт). Я впихнул ее в вагон, она выскочила обратно, несмотря на крик проводницы, — поцеловаться, и снова я почувствовал этот ни на что не похожий вкус. Вообще, никогда не понимал, когда читал или слышал о вкусе чужих губ. Они бывают гладкими или шершавыми, сухими или пухлыми, но здесь у них был ни на что не похожий вкус — солоновато-сладкий, и я ей успел сказать, что не было в моей жизни ничего вкусней, чем она. «Самое вкусное, чем меня кормили». Проводница взревела совсем уж сиреной, и мне пришлось отскочить от вагона. Тут и поезд тронулся, и поначалу я чувствовал себя легко и уверенно, и на перроне мне все улыбались — такая аура счастья меня окружала; но дальше, уже в метро, начались проблемы.

Я нарочно поехал в метро, потому что, видите ли, есть у меня такое суеверие, особенно обостряющееся в моменты счастья, что за все это придется платить и надо срочно отдать в чем-то малом. Все люди с обсессиями — то есть, строго говоря, вообще все люди — делятся на тех, кто этим обсессиям особенно подвержен в опасности, и тех сравнительно немногих, у кого они обостряются в радости. Для меня радость — отклонение от нормы, я привык к тому, что всем неудобен и почти всем неприятен, и когда меня

любят — такое бывает, не поверите, — мне хочется немедленно чем-то отдать, хоть деньгами. Потому что неизбежно ведь придется платить. Мне всегда хочется в таких случаях, я не знаю, попасть под машину. Не смертельно, конечно, и не серьезно, но как-то нарваться на неприятности, пока еще мелкие, потому что пока еще можно. Самое ужасное — встретить именно такую любовь, такую дикую полноту всех совпадений, и после этого, на пике счастья, вдруг ослепнуть, или арестуют за любую ерунду, или убьют по ошибке (или не по ошибке, все мы заслуживаем, это очевидно). И я прямо в метро начал думать, что срочно надо в чем-то отдать, и подавал всем нищим, в чьих благодарностях мне уже слышалось ехидство.

И еще: вам, конечно, должно быть знакомо это чувство, это дикое подозрение, что все подсланы. Когда-нибудь им всем особо еще отплатится за то, что мы перестали друг другу доверять, что самое человеческое, самое вкусное, что у нас вообще бывает — любовь, совместный сон, и они отравили в первую очередь. Все эти выкладываемые порносьемки, все эти подсылаемые девки. Самое интересное, что мне однажды подослали. Тогда я всерьез испугался: значит, они придают мне значение! Старый поэт,

учитель и друг, помог мне отбрехаться: я написал этой девочке, осаждавшей меня письмами и подстерегавшей после выступлений, гомерическое письмо, полное стихотворных цитат и рассуждений в духе школьных песенников, и она отстала, потому что, кажется, все поняла. Я до сих пор не знаю, что в этом было бы такого компрометирующего — подумаешь, трахнул начинающую актрису, — но потом понял: у них одна цель — все загадить, заср...ть. Любовь они точно загадили, потому что теперь в каждой девушке, да что там — в каждом друге, в любом человеке, который тебя узнал на улице и остановился поздороваться, видишь агента. Эта чуженина влезла во все отношения. Я успел, кстати, высказать ей эти подозрения уже на второй день: откуда ты так все про меня знаешь? И она усмехнулась: «Нас готовят». Это было отлично, и я успокоился, а теперь вспомнил: ведь в каждой шутке только доля шутки?!

Самое ужасное, что влюбленному хочется со всеми говорить о предмете своей любви, невозможно вечно носить это в себе, и я говорил — и только тут меня резануло, до какой степени, оказывается, чужими были мне все так называемые друзья. Они мгновенно стали именно так называемыми. Самое странное, что никто за ме-

ня не радовался. Это теперь я понимаю, как их всех грузили мои неуместные исповеди, как им было в самом деле не до меня, как неуместен и даже бестактен казался я им со своим счастьем. Священники, психоаналитики, старые писатели знают: когда к ним навязываются со своими исповедями, обязательно повторяют: такого вы еще никогда не слышали! Но они слышали все, и представьте себе, как ужасен должен быть сорокалетний, уже лысеющий мужик, тогда еще, кстати, официально женатый, рассказывающий о романе со студенткой на двадцать лет младше себя! Вообразите, каков я должен был им казаться со своей болтливой любовью, с рассказами об ангельском виде и характере новой пассии, и вы легко представите себе типовые реакции. Реакция А: все это столько раз уже было, мы столько раз от тебя все это выслушивали, и ровно теми же словами! А теперь вспомни, где А, Б, чем кончилось с В, которую ты потом вообще караулил у подъезда, потому что она изолгалась... Почему еще и об этом надо было мне напоминать! Они доказывали мне полную бесперспективность этих новых отношений с тем же злорадством, с каким атеист объясняет верующему тайну фокуса со священным иерусалимским огнем. Им кажется, что это фокус, а главное — они убеждены, что разоблачение этого фокуса убива-

ет главную загадку мира! Второй тип реакции: да ладно, это даже хорошо, что ты еще способен на такие сильные чувства. Неважно, что получится, но сейчас тебе хорошо. Это произносилось с таким кислым, кисло-сладким видом, с такой априорной уверенностью в том, что ничего хорошего не получится, — я еле сдерживался, чтобы не заорать в ответ. Им всем всегда хочется, чтобы не получилось, потому что они и есть чужие, эмпатия у них на нуле. И с тем большей остротой я вспоминал, как реагировала на все она, как перекашивалась от физической боли, когда я ей рассказывал про собственную мигрень. Она не просто читала мысли, но полностью включалась в любое чужое переживание, не только в мое, — добрый балованный поздний ребенок из книжной провинциальной семьи; и, пересказывая это даже ближайшему другу, я видел, какой пошлостью, какой банальностью ему все это кажется. Все было чужое после нее, вообще все, и я лишний раз оценил собственную давнюю догадку: нам так неохотно подбрасывают своих, чтобы мы не понимали, какой это ужас — чужие. Люди в метро вообще казались инопланетянами, забравшими меня к себе для исследований. Я не понимал, что у меня с ними общего. И всего ужасней, что я не понимал, как мне теперь спать с тогдашней подругой, а точнее как не спать, ка-

кие предлоги изыскивать. Я уже и забыл, что бывает это чувство: когда любое чужое прикосновение грязнит, мучает, как грязь в ране. Я скоро перестал о ней говорить с кем бы то ни было. Я даже и представлять ее перестал.

Мы прожили в разлуке уже почти столько же, сколько были знакомы. Я понимаю, как по-идиотски это звучит, когда речь идет о неделе, но тут важно не число, а пропорция. И тогда начался настоящий кошмар: я стал ее подозревать. То есть эта грязь все-таки проникла в язву, и стало нарывать. Само собой, я закидывал ее эсэмэсками, и она, отдадим должное, все время отвечала, и отвечала ровно в своем духе, так что на короткое время этот пожар удавалось залить. Но потом все возобновлялось, а звонить я боялся. Один раз позвонил, и голос показался мне настолько чужим, что я час потом не находил себе места. В Сети была единственная ее фотография, с какой-то студенческой филологической олимпиады, где она была почти неузнаваема, — и я начал уже думать, что мне вообще все показалось, что она на самом деле некрасива, что только от глубочайшего одиночества я мог вообще попасться на эти простейшие приемы... И в последнюю ночь я почти себя уговорил, что она подслана, хотя кому я мог быть так нужен? Нет,

не властям, конечно, не всем этим действительно и по-настоящему чужим, которые прилетели к нам неизвестно с какой планеты, уничтожили последних, кто мог сопротивляться, а остальным сделали инъекцию своей зеленой слизи, и теперь у всех внутри эта зеленая слизь. Нет, я был нужен не им. А может, идиотский розыгрыш все тех же друзей, в которых я теперь тоже не верил; а может, кто-то из коллег... Ведь любовь — такая слабость, и так прекрасно человека на ней подловить! Нет ничего жалче и беззащитней, чем идиот, уже пожилой по меркам прошлого века, поверивший вот в такое, купившийся на три аккорда и пять общеупотребительных цитат... Помесь одиночества, тщеславия и сексуальной фрустрации — вот что такое вы и ваша любовь, — так я уже говорил себе, потому что, видите ли, уже научился смотреть на себя глазами чужих. Бремя мира, в котором появилась она и почти сразу же исчезла, было невыносимо. Я еще мог все это выносить до нее, пока не понимал, что со мной и кто вокруг меня. Но когда она все это открыла и подчеркнула — боже мой, что со мной стало! Всю последнюю ночь я выл. Вставал, пил воду, курил на кухне, ложился, метался, принялся смотреть идиотское кино — мне все любимое кино тогда казалось невыносимой пошлостью, я не понимал вообще, как мог любить все это... Чу-

жой мир меня стискивал, лез в глаза, в рот, я возненавидел собственный запах. И к утру я твердо решил, что никаких отношений не будет. Позвонил ей, но она уже была, видимо, в самолете и не ответила. У нас назначена была заранее — мы обо всем договорились — встреча у того самого музея, куда она пришла меня слушать, нам это казалось страшно романтичным, и я, как идиот, в жару, под сотнями чужих взглядов топтался у этого музея, понимая, что сейчас из-за угла выкатится она со съемочной группой или просто с организаторами розыгрыша и пойдет веселуха.

Я почти себя уговорил. И за десять минут до назначенного времени повернулся и пошел оттуда к чертовой матери, чтобы никогда уже больше не попадаться ни на какие приманки, не надевать никого из чужих собственными качествами; я всегда был чужим в мире, и нечего надеяться, что за мной стоит какая-то правда, которая в бесконечно отдаленном будущем возьмет и победит. Она никогда не победит, хватит ценой любых унижений сохранять себя до ее победы, хватит уживаться с инопланетянами ради глотка зеленой слизи, хватит стараться им понравиться. Всего вообще хватит! И знаете, если бы я ушел тогда — как знать, это могло стать началом совершенно нового этапа; когда человек

полностью отказывается от надежды, от жизни вообще, из него что-то может получиться. Может быть, после этого моя писанина перестала бы выглядеть бесконечными обещаниями чего-то, и я заговорил бы в полный голос, и стал бы тем, кем и должен был стать с самого начала: ведь без этой последней инициации — поманить самым прекрасным, самым вкусным и отобрать его так бессовестно — вообще ничего не происходит, и вот почему вокруг нас так много неосуществившихся гениев: не так-то легко отдать последнее. И я уже был в полушаге от этого превращения, но тут — понимаете, за десять минут до назначенной даты — она побежала ко мне из метро, чуть не попадая под машины, среди гудков и проклятий, и на лице у нее было написано такое отчаяние, такой гнев, она была такая красная, что, верите ли, ничего прекраснее мне в жизни не показывали.

Она кинулась на меня, как ураган на картинке в учебнике накидывается на американскую ферму. Она на мне повисла, она меня колотила, дергала меня за волосы — на это их вполне еще хватало, — она била меня кулачками в живот, и только врожденный вкус удерживал ее от пощечины. Я так и знала, орала она, я знала, я чувствовала, что ты черт-те чего успел выдумать.

Меня весь день с утра тошнит, я, может быть, беременна! Меня тошнит от всего, от всех, у меня, наверное, пахнет изо рта. Черт бы тебя побрал, как ты мог, как смел! Если бы ты ушел, если бы тебя здесь не было, я бросалась бы на людей, я подожгла бы к такой-то матери этот музей. Скотина! Я поссорилась с отцом впервые в жизни. Он мне сказал, что таких, как ты, у меня будет еще тысяча, и я никому больше не могла о тебе говорить. Ты мне мерещился на всех перекрестках. Тварь. Я никогда уже не буду свободной. Я никогда не предполагала, что это прежде всего ужасная зависимость. До тебя все было так легко, так понятно. И сейчас ты уходил, чтобы меня предать, ты растоптал меня и уходил, сволочь, я не забуду этого никогда! И через какое-то время мы начали уже хохотать, и я почувствовал от этого смеха такую слабость, что буквально упал на скамейку. Мы там, не разлипаясь, просидели до вечера.

И вот вы спрашиваете — потому, собственно, я и стал вам об этом рассказывать, хотя разговор был совсем о другом, — вы спрашиваете, как все это кончится? Что будет со всеми этими людьми, когда это кончится? Уверяю вас, ничего ужасного. Все ужасное мы придумываем, пока вокруг чужие. А как только схлынет сероводород и хлы-

нет кислород — уверяю вас, будет именно то, что я почувствовал, когда она набросилась на меня, когда на меня сладкой волной налетел ее благоуханный пот, когда она обкладывала меня своими подростковыми ругательствами. Вот только это и будет — в один миг мир снова станет своим. И невозможно будет представить, что когда-то было иначе. Ведь счастье, в сущности, и есть то, чего не могло не быть. Простите меня, милый друг, за эту сентенцию. Счастье на хороший вкус плевать хотело, именно плевать — сладкой детской слюной.

ПЕСНЬ ЗАПОЛЯРНОГО ОГУРЦА

Вечная мерзлота занимает 25 процентов территории всей земной суши и 65 процентов территории России. Какой-нибудь не слишком осведомленный человек скажет, что это все клевета и русофобия. Бог с ним, пусть скажет. Абсолютный рекорд глубины залегания этой мерзлоты установлен у истоков реки Вилюй в 1982 году. Там земля промерзла на 1370 метров. Вот это да. Совершенно не хочется радоваться этому рекорду, и тем не менее он наш. Само название «вечная мерзлота» изобретено в России в 1927 году, его автор — Михаил Сумгин, основатель советского мерзлотоведения. Нельзя сказать, чтобы мы сильно любили мерзлоту. Мы вообще чаще всего гордимся тем, чего не любим, вообще тем, с чем жить нельзя. С точки зрения фоносемантики, науки о связи звука со смыслом, «мерз-

лота» не очень приятное слово: в нем слышатся мерзота, мразь, зло, хотя отчасти, конечно, и золото — именно в мерзлоте, скажем, удобнее всего добывать алмазы. Можно вырабатывать кимберлитовые трубки с почти вертикальными краями. Не знаю, почему это удобнее, но так написано. Именно в вечной мерзлоте были открыты крупнейшие алмазные месторождения в России — в Якутии, на Среднесибирской платформе.

Ну, собственно, и пусть себе.

По-английски она тоже звучит не очень красиво — *permafrost*, — но все-таки слышится какая-то сперма, и *Father Frost*, и поэт Роберт Фрост, и чуть ли не первомай, но это на русский слух. Наверное, их относительно спокойное отношение к собственным запредельным широтам связано с тем, что в эти ужасные края никто не ссылал простых канадцев, виноватых только в том, что другие канадцы успели донести на них раньше. Французский язык в Канаде тоже распространен, и на этом женственном наречии вечная мерзлота вообще звучит изысканно — *pergélisol*, но это потому, что во Франции, где этот язык изобретен, мерзлоты вообще не бывает, а только устрицы и яблони, устрицы и яблони. Именно

эта изнеженность помешала французам сначала выиграть войну 1812 года, а потом достойно себя проявить во Второй мировой.

Если 65 процентов территории России находится в местах залегания вечного льда, то есть примерно начиная от 44-й широты и выше, вплоть до мест, где могут находиться уже только ребята семидесятой широты, воспетые Эдуардом Хилем, то из этого совершенно еще не следует, что все остальные ребята должны вести себя аналогичным образом: носить кухлянки, замазывать лицо шарфами, смазывать его тюленьим жиром и петь песни, восхваляющие свои достижения. Остальным 35 процентам территории надо как-то жить, не придавая особого значения этому географическому чуду. Вот да, есть такая страна, где копать на достаточную глубину и заниматься каким-либо растениеводством, кроме тундрового, можно только на одной трети территории, а все остальное пространство для жизни не приспособлено и исчерпывающе описывается словами из другой песни: «Машины не ходят сюда, бредут, спотыкаясь, олени». Правда, в Канаде мерзлота занимает примерно половину территории, но там она почему-то тает, отступая на Север. За последние 30 лет она отступила на 130 км. Если так пойдет дальше, метан, вмо-

роженный в эту мерзлоту, начнет поступать в атмосферу, и тогда глобальное потепление окончательно усилится. Так что протаивать ее себе дороже. Но канадцы как-то живут, не жалуются на свою горькую долю и не считают, что остальная часть территории должна разводить у себя на приусадебных участках ягель и карликовые березы. У заполярников свои развлечения, у нас свои.

Вообще, раньше в Советском Союзе считалось, что малолюдные территории надо окультуривать, заселять, строить там парники, дома культуры, оранжереи, в которых могли бы расти, допустим, патиссоны. Однажды я был на Чукотке с Романом Абрамовичем, вовремя смекнувшем, что богатому еврею лучше поехать туда в качестве губернатора, а не в каком-либо ином. И вот его там повели в теплицу под Анадырем и поднесли огурец. Абрамович смотрел на него со сложным выражением. Это была смесь ужаса, брезгливости и восхищения. Обычный огурец вряд ли вызвал бы у него какие-либо чувства, но этот нечеловеческими усилиями был выращен в Заполярье. С таким выражением иногда смотрят на старца, прыгающего с парашютом или танцующего вальс. То есть сам по себе вальс не вызывает никаких чувств, но его исполняет фактически трость, ветром колеблемая. Смущает яв-

ное несоответствие усилия и результата, не совсем понятно, стоит ли с таким надрывом выполнять такую ерунду. Вот этот огурец был как танец старца: он вызывал горьковатое восхищение, ужасную жалость и чувство своей обреченности. Я потом спросил Абрамовича, как он намерен поддерживать какие-то чукотские производства, которые там есть, — он посмотрел на меня своими все понимающими глазами, в которых светилась мудрость бесчисленного количества денег — иногда мудрость проявляется у человека, который приобрел очень много денег или познал очень много женщин, в глазах появляется бесконечная такая усталость от всего, — и сказал фразу, которую я сделал бы своим девизом, если бы у меня уже не было девиза:

— Бессмысленно поддерживать то, что не стоит само.

(Вероятно, вам интересно узнать мой девиз, но даже если неинтересно, я все равно скажу. Эту фразу сказала однажды Нонна Слепакова, великий поэт и мой литературный учитель: «Я знаю, как надо жить, но я так жить не хочу».)

И в какой-то момент вместо экспансии настала консервация, как это всегда бывает в осыпающихся империях; этот процесс можно иногда за-

тормозить за счет внешней агрессии, сплочения вокруг престола и т.д., но на территориях вечной мерзлоты это никак не сказывается. Империя оттуда уходит, перестает их окультурировать и выращивать заполярные огурцы. Она также перестает обучать необучаемых, не пытается уже дотянуть их до сокровищ мировой культуры, не передает по радио «Маяк» произведения Ференца Листа, а заводит множество FM-радиостанций, поющих «Поцелуй меня везде, будет весело...». Она не озабочена больше формированием прослойки красных директоров, ей даром не нужна вся эта глубоко второсортная, но ужасно трогательная, как заполярный огурец, интеллигенция в первом поколении; все эти люди, которые читают собрания сочинений, выходящие приложением к журналу «Огонек», и слушают авторскую песню, этот заполярный суррогат Ива Монтана. Тогда эта интеллигенция вымирает, а 65 процентов территории — или, если хотите, населения — постепенно зарастает вечной мерзлотой. Или сорняками, если тонкий слой плодородной почвы позволяет выжить сорняку. Яблони в окрестностях Анадыря никого уже не интересуют, потому что яблоч и под Орлом некуда девать, а завозить их из Средней Азии даже дешевле, чем растить. В Средней Азии живут желтые люди, рожденные, чтобы растить яблоки. Мы, белая кость, благо-

даря дедам и прадедам, обильно полившим наши земли кровью, потом и чем еще угодно, можем позволить себе угрожать миру и чесать себя везде, пока вечная мерзлота наступает, а Средняя Азия работает. В этом уникальность нашего исторического места. В результате вечную мерзлоту перестали окультуживать, и две трети территории — и соответственно две трети населения — больше не подлежат обработке. То есть они уже обработаны.

В создавшихся условиях те немногие огурцы, которые тут еще произрастают, и те немногие почвы, которые еще плодородны, не должны, по моему, замораживаться соседством вечной мерзлоты. Мерзлота, конечно, наступает, но ниже 44-й параллели все равно не заберется просто в силу климатических условий. Надежда засадить всю Сибирь яблоневыми садами, а в Якутии расселить морозостойкую мичуринскую сливу (тут, если помните, паче всех добродетелей любого фрукта почиталась морозостойкость) отошла в прошлое, как и мечты профессора Преображенского привить Шарикову любовь к опере. Конечно, если не окультуживать сад, он дичает, но это процесс медленный, и главное, не надо бояться, что по наши плоды придет иноземный завоеватель. Он уже знает, что встретят его тут пожар

Москвы, остервенение народа, зима иль русский Бог, а за яблоками можно идти в Среднюю Азию, которая и так с ними рвется на мировые рынки. Ядерное оружие надежно защищает нас от любых иноземных культур, как садовых, так и огородных, а собственного нашего ресурса вполне довольно, чтобы прокормить остатки населения. Разумеется, пока его все еще больше, чем нужно для обслуживания власти и трубы, но излишек всегда можно отправить в Сирию, чтобы установить мерзлоту и там. Поскольку задача эта трудноосуществима, посылать туда желающих можно будет еще долго.

Если же кого-то из теплолюбивых сограждан огорчает соседство мерзлоты и подавляющее ее количество, хочу сказать, что огорчаться тут совершенно незачем — разве что вы очень уж любите огорчаться и не можете без этого жить. А так-то все норм, и перед этими двумя третями территории вы ни в чем не виноваты. Они перед вами, впрочем, тоже. Ну вот они так живут. Они совершенно не посягают на вашу нишу, потому что не умеют и не хотят делать того, что умело и с удовольствием делаете вы. А что они из своей мерзлоты постоянно вам грозят кулаками и обещают вас уничтожить, заслать в мерзлоту и пристроить своих детей на ваше место, так они все

равно ничего этого не сделают, даже и не очень хотят. Почему же тогда грозятся? А вы попробуйте пожить в вечной мерзлоте, да еще без заполярных огурцов. Обязательно надо грозиться. И никуда они без вас не денутся, еще и оберегать будут — потому что если жить в мерзлоте и никому не угрожать, вообще с ума сойдешь.

Ничего не поделаешь, утопические проекты кончились, остров доктора Моро опустел, Преображенский уехал, Руссо умер. Растопить мерзлоту — значит затопить планету. Надо учиться просто существовать рядом с тем, что непригодно для развития и жизни. Надо просто запомнить, что мерзлота никогда не придет в Орел, от осины не родятся апельсины, а вода не смешается с маслом. Вы при всем желании не станете ими, они никогда не будут вами, держитесь 44-й широты и не мечтайте о большем.

А мы, последнее поколение заполярных огурцов, экзотический продукт, никому особенно не интересный, как-нибудь дотянем свой век, глядя на все ваши игры с тем же тихим ужасом, с которым Абрамович когда-то глядел на нас.

Формат «Русского пионера» необязательно предполагает серьезный разговор. Нет, не всегда. Это бывает ненавязчивый треп членов элитного клуба, повод для спекуляций для уцелевшей прессы, которой больше делать нечего. Находятся люди, всерьез полагающие, что политик и писатель С. не любит женщин или, по крайней мере, не принимает их всерьез. Да принимает он! Просто «Русский пионер» для него своеобразная отдушина, возможность высказать мрачные мысли, приходящие в дурную минуту, или потроллить читателя в минуту, напротив, веселую. И тем не менее сейчас будет абсолютно серьезный разговор.

Хочется поговорить о том главном русском соблазне, который с такой изумительной наглядностью явил себя в 1831 году, когда Пушкин пи-

сал «Клеветникам России» и «Бородинскую годовщину»; и в 1863-м, когда Герцен остался в полном одиночестве и реформы в России начали сворачиваться, не развернувшись; и в 1914-м, когда война стала главным средством сплочения страны вокруг власти (и в конце концов вызвала революцию), и в 2014-м, когда Крым стал наш. В 1968-м и 1980-м это почему-то не получилось, и именно это заставляет думать, что позднесоветская Россия являла собой принципиально новый этап в развитии данного социума, что социум стал умней, чем могла выдержать политическая система, и взорвал ее, как и после Серебряного века; боюсь, теперь этот уровень уже недостижим. Собственно, и к описанию этого русского синдрома я пришел именно тогда, когда впервые задумался: почему наше вторжение в Прагу в августе 1968 года не вызвало всенародного ликования? Литературное сообщество — в каком-то смысле зеркало эпохи, капля крови, взятая на анализ, по выражению Марьи Розановой; тогда литераторы — по крайней мере, известные и одаренные — дружно взяли сторону чехов. Болеть за наших и против чехов в какой-то момент даже в хоккее стало неприличным. Допустим, в 1968-м появлялось полно искренних, а не только инспирированных писем в поддержку этого вторжения, и находились трудящиеся,

которым оно действительно очень нравилось. Но 1980 год был уже при мне, и я отлично помню, что «Кабулнаш» не вызывал у нации никакого повального восторга. И не только у «моей подлой нации», как явно шепчет про себя какой-нибудь новейший нацик, а у той советской нации, которая действительно служила поводом для интереса и зависти у остального мира. Никто не выказывал энтузиазма по поводу нашего входа туда, и не стоит объяснять это иссяканием пассионарности. Дескать, империя постарела, зубы затупились, и потому она не выразила радости от очередной экспансии и именно поэтому вскоре развалилась. Ничего подобного: просто тогда уже были иные поводы для гордости. Гордились космосом, фильмами, великой литературой, даже спортом гордились, хоть он и не доминировал; платить за имперское величие цинковыми гробами... да еще если учесть, что афганцев никто сроду не завоевал... Тогда тоже много было разговоров про дальние подступы, на которых мы остановили врага; про то, что мы защищали нашу Среднюю Азию, что если б не мы, — объяснял мне наш прапорщик уже в 1987 году, — то американцы сейчас бы там уже были, мы их опередили буквально на полчаса! Мифология была та же, но не действовала. Ни на кого. Даже на гопников, которым, кстати, реально све-

тило туда поехать, и они, при всем своем бойцовском люберском нраве, совершенно этого не хотели.

Но ведь это было в позднем СССР, с его непредставимым сегодня интеллектуальным уровнем: гнили, но думали! В прочие времена, даже в столь продвинутом обществе, как шестидесятники XIX столетия, достаточно было нарисовать перед ними в воздухе мираж Русского мира (тогда это называлось иначе, скажем панславизм) — и все внутренние проблемы забывались, любая оппозиционность таяла, торжествовал в чистейшем виде ресентимент. Кстати, этого слова тогда не было тоже, ввел его Ницше в книге «К генеалогии морали» в 1887 году. Ницше подчеркивает, что ресентимент — не просто чувство обиды, зависти и неполноценности; нет, это целая нравственная система, построенная на этом чувстве. Это мораль рабов, потенциальных бунтарей, противостоящая морали господ, то есть творцов и созидателей. И эта-то нравственная система — описанная у Достоевского в «Записках из подполья», эта способность «извлекать самый сладкий сок из унижения» — она и стала российской системой морали, главным соблазном местной мысли. Мы в эту подпольность скатываемся при первой возможности, поскольку она очень

уж сладостна. Конечно, каждый опьяняется чем умеет, у других наций другие наркотики, а этот соблазн специфически русский: от него потом очень болит голова, он не всегда приводит к появлению качественных текстов (это надо быть Пушкиным, чтобы из любого повода делать хорошенькие стишки, звонкие, гладкие), но ощущения очень сильные. При героине (не от слова «героиня», а от слова «героин») тоже, говорят, сильные ощущения, а что гниешь потом заживо, так все умрем, нет?

Разумеется, во все времена находились люди, резистентные к этому соблазну: не просто особенно стойкие, а скорее очень умные, видящие спекуляцию. Толстой подошел к вопросу настолько честно, что Катков даже не стал у себя печатать восьмую часть «Анны Карениной», и Толстой, отказавшись вносить коррективы, вынужден был публиковать текст отдельной брошюрой (на чем только выиграл). Там он высказывается по горячим следам — только что отгремела волна солидарности с братьями славянами, новый приступ панславизма, новые мечты о завоевании Константинополя и проливов, вследствие чего Александр II опять стал мегапопулярен, герои Шипки сделались общими любимцами, а проклятых либералов и реформистов в очередной раз

заклеймили. И вот как Толстой по всему этому энтузиазму прошелся: «Все то, что делает обыкновенно праздная толпа, убивая время, делалось теперь в пользу славян. Балы, концерты, обеды, спичи, дамские наряды, пиво, трактиры — все свидетельствовало о сочувствии к славянам. Со многим из того, что говорили и писали по этому случаю, Сергей Иванович был не согласен в подробностях. Он видел, что славянский вопрос сделался одним из тех модных увлечений, которые всегда, сменяя одно другое, служат обществу предметом занятия; видел и то, что много было людей, с корыстными, тщеславными целями занимавшихся этим делом. (...) Но при том было другое, радостное для Сергея Ивановича явление: это было проявление общественного мнения. Общество определенно выразило свое желание. Народная душа получила выражение, как говорил Сергей Иванович. И чем более он занимался этим делом, тем очевиднее ему казалось, что это было дело, долженствующее получить громадные размеры, составить эпоху. (...) На Царицынской станции поезд был встречен стройным хором молодых людей, певших «Славься». Опять добровольцы кланялись и высовывались, но Сергей Иванович не обращал на них внимания; он столько имел дел с добровольцами, что уже знал их общий тип, и это не интересовало

его. Катавасов же, за своими учеными занятиями не имевший случая наблюдать добровольцев, очень интересовался ими и расспрашивал про них Сергея Ивановича. Сергей Иванович посоветовал ему пройти во второй класс поговорить самому с ними. На следующей станции Катавасов исполнил этот совет. На первой остановке он перешел во второй класс и познакомился с добровольцами. Они сидели отдельно в углу вагона, громко разговаривая и, очевидно, зная, что внимание пассажиров и вошедшего Катавасова обращено на них. Громче всех говорил высокий, со впалою грудью юноша. Он, очевидно, был пьян и рассказывал про какую-то случившуюся в их заведении историю. Против него сидел уже не молодой офицер в австрийской военной фуфайке гвардейского мундира. Он, улыбаясь, слушал рассказчика и останавливал его. Третий, в артиллерийском мундире, сидел на чемодане подле них. Четвертый спал. Вступив в разговор с юношей, Катавасов узнал, что это был богатый московский купец, промотавший большое состояние до двадцати двух лет. Он не понравился Катавасову тем, что был изнежен, избалован и слаб здоровьем; он, очевидно, был уверен, в особенности теперь, выпив, что он совершает геройский поступок, и хвастался самым неприятным образом. Другой, отставной офицер, тоже произвел непри-

ятное впечатление на Катавасова. Это был, как видно, человек, попробовавший всего. Он был и на железной дороге, и управляющим, и сам заводил фабрики, и говорил обо всем, без всякой надобности и невпопад употребляя ученые слова. Третий, артиллерист, напротив, очень понравился Катавасову. Это был скромный, тихий человек, очевидно преклонявшийся пред знанием отставного гвардейца и пред геройским самопожертвованием купца и сам о себе ничего не говоривший. Когда Катавасов спросил его, что его побудило ехать в Сербию, он скромно отвечал:

— Да что ж, все едут. Надо тоже помочь и сербам. Жалко. (...)

Один проезжающий старичок в военном пальто все время прислушивался к разговору Катавасова с добровольцами. (...) Старичок был военный, делавший две кампании. Он знал, что такое военный человек, и по виду и разговору этих господ, по ухарству, с которым они прикладывались к фляжке дорогой, он считал их за плохих военных. Кроме того, он был житель уездного города, и ему хотелось рассказать, как из его города пошел только один солдат бессрочный, пьяница и вор, которого никто уже не брал в работники. Но, по опыту зная, что при теперешнем настрое-

нии общества опасно высказывать мнение, противное общему, и в особенности осуждать добровольцев, он тоже высматривал Катавасова.

Сегодня, пожалуй, много опаснее высказывать собственное мнение, а потому я и цитирую Толстого так обширно. Он тоже, впрочем, предпочитал высказываться через любимых героев вроде старого князя Щербацкого: он у него осуждает и публичную благотворительность («Лучше, когда делают так, что, у кого ни спроси, никто не знает»), и массовый психоз в связи с братьями славянами. «— Ради Христа, объясните мне, Сергей Иванович, куда едут все эти добровольцы, с кем они воюют? — спросил старый князь, очевидно продолжая разговор, начавшийся еще без Левина. — Кто же объявил войну туркам? Иван Иваныч Рагозов и графиня Лидия Ивановна с мадам Шталь? (...) Я жил за границей, читал газеты и, признаюсь, еще до болгарских ужасов никак не понимал, почему все русские так вдруг полюбили братьев славян, а я никакой к ним любви не чувствую? Я очень огорчился, думал, что я урод или что так Карлсбад на меня действует. Но, приехав сюда, я успокоился, вижу, что и кроме меня есть люди, интересующиеся только Россией, а не братьями славянами». И Левин поддерживает его, а демагог, братец Сергей Ивано-

вич, рассуждает ровно в духе сторонников ДНР: «В восьмидесятимиллионном народе всегда найдутся не сотни, как теперь, а десятки тысяч людей, потерявших общественное положение, бесшабашных людей, которые всегда готовы в шайку Пугачева, в Хиву, в Сербию...

— Я тебе говорю, что не сотни и не люди бесшабашные, а лучшие представители народа! — сказал Сергей Иванович с таким раздражением, как будто он защищал последнее свое достоинство. — А пожертвования? Тут уж прямо весь народ выражает свою волю.

— Это слово «народ» так неопределенно, — сказал Левин. — Писаря волостные, учителя и из мужиков один на тысячу, может быть, знают, о чем идет дело. Какое же мы имеем право говорить, что это воля народа?»

Любопытно, что войне радуются наименее симпатичные Толстому персонажи романа — в частности, Вронская-мать, в молодости развратница, в старости ханжа: «Это Бог нам помог — эта сербская война. Я старый человек, ничего в этом не понимаю, но ему Бог это послал. Разумеется, мне, как матери, страшно; и главное, говорят, *ce n'est pas très bien vu à Pétersbourg*. Но

что же делать! Одно это могло его поднять. Яшвин — его приятель, — он все проиграл и собрался в Сербию. Он заехал к нему и уговорил его. Теперь это занимает его». Большинство русских романов XIX века — это главная особенность тогдашнего метасюжета — начинаются в салоне, а кончаются на каторге; в тогдашней жизни вообще не очень много локаций. Но иногда заканчиваются они на войне — это вариант бегства, выхода из тупика: куда, скажем, деваться Печорину? А Вронскому? Роман ведь о том, как Россия попыталась выскользнуть из-под власти и сбежать — как попытался Толстой сбежать из дома и погиб все на той же русской железной дороге, этом вечном символе исторической предопределенности. «У нас все переворотилось и только еще укладывается» — знаменитая фраза Левина, едва ли не самая цитируемая в советские времена; но уложилось-то на рельсы. Попытка бегства на свободу обернулась такой не-свободой, что из нее вовсе уж не было никакого выхода; от одного Алексея, который ее не понимал, Анна попала к другому Алексею, который ею тяготился, и в результате все кончилось поездом, идущим на войну; не зря тендер этого паровоза так живо напомнил Вронскому (у него даже зубная боль прошла, вытесненная другой болью) поезд, под которым погибла Анна. Тот поезд,

о котором другой автор, не слишком любимый Толстым, написал десять лет спустя: «Вся станция оцепенела от ужаса, когда мимо нее пронесся в вихре огня и дыма этот обезумевший поезд: паровоз без машиниста и кочегара, с вагонами для скота, переполненными солдатами, оравшими свои патриотические песни. Что ему было до жертв, раздавленных на его пути! Несмотря ни на что, он стремился к будущему, стоило ли обращать внимание на пролитую кровь! Он мчался во мраке, без водителя, словно ослепшее и оглохшее животное, которое погнали на смерть. Он мчался, нагруженный пушечным мясом, солдатами, которые, одурев от усталости и водки, орали во все горло патриотические песни».

(Кстати, почему Толстой его недолюбливал, несмотря на все сходство лейтмотивов и, замечу, равенство возможностей? Да именно потому. Как сказал Чехов, мы для него мелюзга, а Шекспир мешает; вот и этот, лучший из прозаиков Франции за последние три века, мешал; а так-то они, как видим, многое понимали сходно.)

Да, от войны Яшвину никуда не деться, ибо он разорен; и Вронскому — ибо он раздавлен; и Сергею Иванычу нечем больше утешиться, ибо демагогия его никому не нужна, а так он может

опереться на демагогию патриотическую. Петербург, конечно, побаивается народного порыва, потому что чувствует, что национально-освободительное движение перерастет в просто освободительное, и многие сторонники ДНР сегодня надеются, что наберут разгона и вышибут либералов из Кремля, а всю Россию превратят в огромное Гуляй-поле, не забывая попутно о культе собственной личности. Но в Петербурге напрасно боялись — а барды ДНР напрасно надеются: ресентимент действует локально, недолго. И люди, подобные добровольцу с впалой грудью, не зажгут моря: они подались на войну именно потому, что у них ничего не получилось, и вряд ли потом получится. Ресентимент годится, чтобы отвлекать, а не чтобы увлечь. Ибо фальшивая его сущность очевидна любому, кто умеет задумываться: Леонтьев — это вам не Ленин.

Почему же этот русский соблазн так могуч, что и Пушкин не мог ему противостоять? Случай Пушкина особый: когда Чаадаев делал ему сомнительные комплименты — типа вот вы наконец национальный поэт, — едва ли ему это нравилось, ибо комплименты от Чаадаева, мыслящего столь отличным от него образом, могли восприниматься скорее как жестокая насмешка... А впрочем, кто знает? Конечно, нельзя рас-

смаatrивать «Клеветникам» и «Годовщину» вне контекста; прежде всего — вне контекста отношений с Мицкевичем. Очень стоило бы написать о Пушкине и Мицкевиче отдельную, фундаментальную и непредвзятую работу, чего мы вряд ли дождемся в ближайшее время — как в России, так и в Польше. А между тем вне полемики Пушкина с Мицкевичем, вне контекста их сложнейших отношений нельзя читать ни «Медного всадника», который весь был ответом на третью часть «Дзядов» и конкретно «Ustep», ни ядовитое стихотворение Мицкевича «К друзьям-москалям», в которых Мицкевич отвечает именно Пушкину, причем наносит удары ниже пояса. Отношения были натянутые, взаимно уважительные, крайне сложные сами по себе и вдобавок осложненные ревностью. От прекрасной, хотя и несколько брутальной полячки Каролины Собаньской Мицкевич добился большего, хотя и простился с ней одним из самых резких сонетов — «Прощание» (в некоторых отношениях оно предсказывает «Дрянь» Майка Науменко). Пушкин ограничился шедевром «Что в имени тебе моем?», явно платоническим. «Что я в сравнении с ним?!» — восклицал Пушкин, услышав французские импровизации Мицкевича. «С дороги двойка — туз идет!» — говорил он, встречаясь с ним; тот отвечал в тон: «Козырна двой-

ка туза бьет». Польша меньше России, но Мицкевич — поэт и мыслитель не меньше Пушкина; по крайней мере, роль его для поляков не меньше пушкинской, в известном смысле христологической. Тут помимо русско-польской драмы наличествовали обстоятельства взаимной ревности, конкуренции, уважения, зависти («Зависть — сестра соревнования, следственно хорошего роду», — учит нас Пушкин), да много всего. Некоторые приплетают сюда тот факт, что Пушкин сочинял оба эти шедевра геополитической мысли, находясь в Царском Селе, где еще так свежи были воспоминания о 1812 году: «Вы помните, текла за ратью рать, со старшими мы братьями прощались и в сень наук с досадой возвращались, завидуя тому, кто умирать шел мимо нас...». Иные припоминают, что «Клеветникам» адресовано французам, кои собирались вмешаться в «спор славян между собою» — естественно, на польской стороне; Пушкин, для которого память 1812 года была священна, решил им напомнить о «нечуждых им гробах». Есть, наконец, мнение, что насчет 1812 года Пушкин очень хорошо все понимал: «Его мы очень смирным знали, когда не наши повара орла двуглавого щипали у Бонапартова шатра», — но это для себя и Александра Тургенева, которому была читана последняя глава «Онегина». Но в 1831 году Пушкин

переживал кратковременный роман с государством: женитьба всегда сопутствует подобным интенциям и даже, кажется, вызывает их (у Пастернака в 1931 году было все то же самое, захотелось «труда со всеми сообща и заодно с правопорядком»). Хочется основательности, лояльности, уверенности в завтрашнем дне. Пушкин за это заплатил ужасно — не только ссорой с, например, Хитрово, чье мнение ему было в значительной степени по барабану, но и расхождением с Вяземским, справедливо замечавшим, что Пушкин сам с легкостью накидал бы остроумных опровержений на все свои аргументы. Ахматова всегда брала сторону поэта, замечая: «Вяземский прошипел в дневнике, а Пушкин сказал на всю Россию»; на это тоже легко накидать опровержений — у Вяземского не было возможности тогда публично возразить Пушкину, да и не хотел он обижать поэта, и вообще, если следовать этой логике, она тоже в своих потаенных стихах и в «Реквиеме» высказывалась вполголоса, а на всю Россию гремел Лебедев-Кумач; и кто после этого прав? Пушкин в 1831 году просил у правительства разрешения издавать политический журнал — самого что ни на есть патриотического направления, чтобы окорачивать «их», Европу; ровно то же говорил Тарасенкову Пастернак: «Почему они делают свою пропаганду так топор-

но? Почему не позовут нас — мы бы им сделали лучше...». Он еще не понимал тогда — как отлично понимал в пятидесятые, — что им не нужно лучше; им надо именно топорно, в этом их сила. Они боятся патриотической инициативы больше, чем либеральной; им не нужен честный патриот, а годится только вороватый, потому что честный патриот в первую очередь сметет их. Потому-то крестьянам, партизанившим в 1812 году, не была дарована вольность, которой лучшие умы так ждали. И Пушкин со своим лоялизмом был лично одобрен — но письма его перлюстрировать не перестали, и вот тогда до него дошло: «Холопом и шутом не буду и у царя небесного». Да поздно. Все уже было решено — того самого 8 сентября 1826-го, когда царь сказал: «Это МОЙ Пушкин». Не зря перед смертью Пушкин сказал: «Был бы весь его», — сказал не то с досадой, не то с горькой радостью от того, что хотя бы в смерть сбежал от такой вероятности.

А весьма возможно, что правы те — среди них есть филологи первоклассные, — кто считает: поэт и сам власть и потому понимает власть в некоторых ее мотивах; поэту естественно стремиться к расширению своего языкового ареала, и утрату кусков империи он воспринимает как утрату части аудитории. Так Бродский сочинил

«На независимость Украины», одно из слабейших своих стихотворений, несмотря на всю ярость риторики. Признаться, ярость вышла довольно жалкая — и политически, и поэтически. Но что простительно поэту... Пушкин сам писал, что поэтически склонен понять поляков, но «их надобно задушить, и чем скорее, тем лучше». У Пушкина были свои гефсиманские минуты, свой соблазн, против которого он не устоял; значит ли это, что, любя его, мы должны любить и его соблазны, и его падения? Писарев превосходно оценил силу пушкинских стихов 1831 года: «Попади только это стихотворение во Францию, тогда, само собою разумеется, все крикливые французские депутаты, узнавши, что в России существует воинственный и сердитый стихотворец, monsieur Poushchine, тотчас понизили бы тон и немедленно уразумели бы, что с Россиею ссориться опасно, ибо эта Россия может засыпать Францию растянутыми стихотворениями, тщательно переведенными с русского на французский».

В чем же дело, почему этот соблазн так бесмертен и до сих пор так неотразим? Почему любое революционное движение — и не такое слабое, как в 2012 году, — легко перенаправить и придушить с помощью внешней агрессии, с помощью ответа на внешнюю угрозу, подлин-

ную или мнимую? Почему самый надежный русский оппозиционер превращается в отъявленного имперца, стоит Украине отвернуться на Запад? Почему рейтинг власти немедленно твердеет, стоит ей пальцем указать на вероятного противника, — и только в 1968-м и 1980-м это не сработало, потому что появились «образованцы», столь ненавистные Солженицыну? Были ли это в самом деле вырожденцы, лишенные патриотического чувства, или просто народ России массово поумнел и уже не купился на эту дешевую разводку, а сегодня одурел настолько, что готов верить в фашиствующих бандеровцев и купленных Госдепом внутренних врагов? Правду сказать, Россия никогда не была такой умной — и такой массово умной, — как в 1968-м; правда и то, что такой растленной она тоже никогда не была. Но растленными были одни, щедро демонстрировавшие двойную мораль; те, кто выходил на площадь, в том числе с малолетними детьми, как раз и были пассионариями. Пассионарии не подписывают «писем трудящихся». У них другие методы. И устраивать «буйство с мандатом на буйство», по словам Пастернака, им тоже не свойственно, даже если для этого буйства им специально выделяют соседний регион. Туда устремляются не пассионарии, а люмпены.

Но в наши времена, увы, соблазн действует, как никогда. Подавляющее большинство российского населения все понимает — как понимает и героиновый наркоман, — но не может отказать себе в ресентиментальной зависимости, в повторении тех самых чувств: «Да, мы грязные, мы бедные, мы измученные, но СЕЙЧАС МЫ ВАМ ВСЕМ ПОКАЖЕМ, потому что, кроме нас, показать некому!» И они покажут то единственное, что у них осталось, — готовность умирать, потому что жить им незачем; потому что они либо продулись, как Яшвин, либо потеряли самое дорогое, как Вронский. Кто не умеет жить, тому умирать не штука. У этих людей нет другого соблазна, кроме как пополнить ряды очередной ЧВК: деваться-то куда? Не власть же опрокидывать? Еще посадят, а это хуже смерти.

В этих обстоятельствах и поэту нетрудно сдаться: он будет сопротивляться долго, но в конце концов вес страны окажется больше. Помните, как говаривал другой поэт, отошедший, к сожалению, от литературы и посвятивший себя делам куда более мрачным: «Может ли отдельный человек выдержать вес всего Советского Союза?» Не может. Нынешняя Россия весит гораздо меньше, но и ее вес выдержать нелегко: когда вся пропа-

ганда обзовет тебя мерзавцем и все воинственные домохозяйки дружно заклеят в фейсбулке, что скажешь?

Я знаю только то, что скажу лично я: НЕТ. НИКОГДА. Я знаю, чем кончается этот соблазн, и если я ему поддамся, пусть самое имя мое будет проклято.

Но этого вы, повторяю, не дождетесь никогда, никогда, нет. И если даже одно это «Нет» останется от меня — как хотите, это не так мало.

Чем дольше я живу в России, тем больше люблю русскую революцию. Чем дольше я слышу разговоры о том, что Путин России нравится и потому ничего другого она не заслуживает, чем больше людей вокруг меня постепенно, что называется, «принюхиваются» и начинают говорить, что никогда хорошо не жили, нечего и привыкать; чем больше народу вокруг перестают отличать добро от зла и смиряться со злом как с неизбежностью; чем больше я вижу вокруг абсурда, деградации и массового отупения, тем лучше я понимаю их там, в 1917 году, и тем больше моя настороженность относительно всех, кто их сегодня критикует.

Мы в последнее время совершенно разучились называть вещи своими именами, и почему бы нам не сказать прямо, что деградация Россий-

ской империи началась не в 1914 году, что быстрое развитие российского капитализма не означает адекватности русского государственного устройства этому быстрому развитию, что русская общественная жизнь в 1915 году вообще была уже мертва, а к семнадцатому деградировала и административная. Русская революция случилась потому, что ничего, кроме нее, нельзя было сделать. Нужна была общественная сила, у которой хватило бы решимости и легитимности на радикальное переустройство государства (часто употребляемое слово «переучреждение» попахивает Донбассом). У Романовых такой легитимности не было, а у большевиков, в силу цинизма и дерзости, она появилась: они не обрушивали власть, а подобрали ее.

Нам дали крупно, в упор посмотреть на все, что творилось тогда в России: преимущество нашей истории в том, что ее, в общем, не обязательно изучать — всегда можно прожить на своем опыте. Каждому поколению достается либо своя революция, либо живая, через одно рукопожатие, память о ней. Я знал людей, слушавших Ленина и бывших на его похоронах. Я видел 1991 год — и застал семидесятые, показавшие мне изнутри Серебряный век. И все, что уничтожила революция, мы наблюдаем сегодня в гро-

тесно-преувеличенном виде: тут и попы, готовые благословлять расправы, и дремучие массы, не интересующиеся собственной судьбой, но аккумулирующие страшную злобу, и власть, видящая в себе единственную гарантию существования страны, и страна, которая гроша ломаного не даст за эту власть, как только почувствует слабину (а не почувствовать нельзя, все трещит по швам). И сделать эту революцию ужасно хочется, невзирая на последствия.

О последствиях следовало бы сказать особо: не нужно повторять, что из всякой революции неизбежно получается ГУЛАГ. На разной почве получается разное, и разной оказывается степень гнилости того режима, который сменяют. Если он прогнил достаточно, то есть в нем вообще не осталось жизнеспособных и неskomпрометированных институций, вероятность смуты выше, а после смуты выше вероятность ГУЛАГа, так что чем дольше затягивают, тем верней нарываются. Но вообще-то ГУЛАГ — это не революционная, а контрреволюционная организация, не восстание, а реакция. Конечно, репрессивная система не со Сталина началась, но именно при Сталине она стала главной, чтобы не сказать единственной. Она превратилась в основу государственной психологии, в главный ин-

струмент производства и строительства — потому что в колхозах работали беспаспортные и фактически крепостные колхозники, а сталинские высотки возводились заключенными. Советская власть в тридцатых закончилась, потому что главная идея советской власти заключалась не в том, чтобы всех пересажать, а в том, чтобы создать нового человека; и только после очерка Горького «Соловки» вслух заговорили о том, что лучший способ создать нового человека — это его сажать. В изначальные условия это не входило, и когда апологеты русской идеи клеймят лагеря и репрессии — это они попросту переводят стрелки. Потому что революцию и реакцию делали разные люди. Просто одобряли их примерно одни и те же, которые всегда все одобряют и которые вообще живут по принципу «Мы обыватели, нас обувайте вы, и мы уже за вашу власть».

И даже если после революции действительно неизбежен термидор, то есть время, когда восстание пожирает своих детей, — бесконечные разговоры об этом напоминают престарелого проповедника, стоящего у постели, на которой у молодых первая брачная ночь. Он стоит и гундосит: «Что, собираетесь вот этим делом заниматься? От этого дела, во-первых, дети бывают,

а с ними одни неприятности... Во-вторых, это сейчас вы собираетесь совокупляться, а как поживете вместе — так ничего, кроме взаимного отвращения. У него пузо, у тебя целлюлит, он рыгает, у тебя изо рта пахнет... Потом опять же старость, трясение колен, тугоухость, у него лысина, у тебя волосы на подбородке... Ну и смерть, понятное дело, и разложение... Вот там, куда он сейчас будет тебе совать, — там будут черви, понимаешь ты, черви!» И чего заслуживает такой проповедник, я вас спрашиваю, хотя объективно он говорит чистую правду, от которой стыдно прятаться? Все именно так и будет, и эти соображения не только не останавливают молодых, но даже слегка возбуждают — потому что заниматься этим делом надо, пока нет пуха и целлюлита, пока юность благоуханна. И нечего нам рассказывать, что после революции одних посадят, других выгонят, а третьих в процессе вообще убьют. Убьют в конце вообще всех — и плохих, и хороших, но одни перед этим жили, а другие гундосили.

Вообще, хотеть революции не очень нормально. То ли дело первая брачная ночь — хотя находятся убежденные асексуалы, считающие, что секс психологически опасен и часто ведет к насилию. Я эту теорию знаю и отчасти даже одо-

брю. Розанов полагал, что в сексе человек превращается либо в бога, либо в животное. Об этом написана пьеса «Обыкновенное чудо», сюжетом которой тоже является, в сущности, революция. Считалось, что в результате революции животные превратятся в людей, пролетарии — в сверхчеловеков, а эксплуататоры, напротив, обнажат свою животную сущность и только что не встанут на четвереньки. Булгаков полагал, что животное никуда не денется и собачье сердце в сочетании с гипофизом Клима Чугункина породят Полиграфа Полиграфовича. Интересно было бы посмотреть, что получится из сочетания собачьего сердца с гипофизом профессора Преображенского: наверное, какой-нибудь красный директор, просвещенный, но по сути такой же рабский. Шварц, описывая эту главную коллизию XX века, предположил, что вследствие любви медведь на секунду вернется в медвежье состояние, но потом окончательно гуманизируется. Это очень важно, что на секунду он все-таки стал медведем, но потом уже бесповоротно превратился в человека. Так вот я на стороне Шварца, а не Булгакова. Я уверен, что, если бы Шарикова правильно воспитывать, его дети уже не были бы Шариковыми, а если бы ему случилось влюбиться — например, в кошку, как я предположил однажды, — все могло повернуться ина-

че. Но сегодня возобладал такой взгляд, что кому велено чирикать — не мурлыкайте. То есть это как бы глобальный пересмотр итогов приватизации. Но суть истории человечества в том, что вся она есть непрерывный пересмотр итогов приватизации, и более того — если человечество не развивается, оно деградирует. В последнее время я склонен думать, что Бог для недопущения ненужных жертв разделил человечество на две части, и одна будет развиваться, а другая — деградировать, потому что им обоим так удобнее, и зачем же в результате революции заставлять страдать всех? Одним она нужна, а других пугает, вот и пусть они остаются в своем уютном ничтожестве. Так оно, скорее всего, и получится, потому что в XX веке оказалось, что любая тотальность — то есть революция для всех или реакция для всех — мало того что ведет к большой крови, но и не достигает своей цели. Осталось сделать так, чтобы те, кому надо, могли развиваться, не тревожа тех, кому не надо. Но в нынешней России, кажется, делают все возможное, чтобы этого не случилось, и потому революция будет, хотим мы того или нет. Потому что вместе с большинством отказаться от развития и скатиться в гниение — это, как угодно, не история. Прожить такую историю, как русская, только ради ее прекращения и окончательной деграда-

ции — перспектива неубедительная и, главное, смешная. А быть смешной Россия ненавидит.

Повторяю, хотеть революции неправильно, но если это единственный вариант развития и даже реанимации, как было в России 1917 года, — что поделаешь. Состояние довольно большой (и все увеличивающейся) части российского населения в наши дни точно описано Солженицыным в самом его традиционном романе «В круге первом». Там есть такой герой, дворник Спиридон, представитель народа, явно невымышленный — потому что, подозреваю, Солженицыну не хватило бы художнической дерзости выдумать такое; впрочем, кто знает. «— Если бы мне, Глеба, сказали сейчас: вот летит такой самолет, на ём бомба атомная. Хочешь, тебя тут как собаку похоронит под лестницей, и семью твою перекроет, и еще мильён людей, но с вами — Отца Усатого и все заведение их с корнем, чтоб не было больше, чтоб не страдал народ по лагерях, по колхозах, по лесхозах? Я, Глеба, согласишься? нет больше терпежу! терпежу не осталось! Я бы сказал, — он вывернул голову к самолету: — А ну! ну! кидай! рушь!!»

Сейчас, в общем, у многих такое настроение. И революция обязательно будет, когда мир-

ная обывательская жизнь станет хуже любой разлуки. Сейчас-то еще есть чего терять, и даже очень; в провинции многим уже нечего, а в Москве и вокруг нее кое-что осталось. Но перемены рисуются нерадостные, а если осуществится сценарий большой войны, я и вовсе не вижу желающих класть свою жизнь на алтарь совершенно чужого Отечества, давно присвоенного людьми, категорически не собирающимися пересматривать итоги. И если многих из нас, у кого нет решительно никаких представлений о будущем и никаких шансов осуществиться, спросят сегодня с нержинской, солженицынской прямо-той: готовы вы погибнуть при условии, что вместе с вами погибнут все вот эти, очистят воздух от своего зловонного дыхания, погибнут вместе со всеми своими бабами и бабками, элитными детьми и дорогими машинами, неправыми судами и непрерывными демонстративными измывательствами, — вы готовы?

Очень многие скажут: да. И не надо для этого никакой атомной бомбы, мы и есть атомная бомба. Мы подчеркнуто мирные атомы, которые в критический момент вдруг сносят все.

Конечно, лучше бы этого не было. Но если единственным шансом вдохнуть за всю жизнь

несколько атомов чистого кислорода становится революция, неужели надо всю жизнь дышать сероводородом? Че Гевара был убийца, и Ленин не чувствовал ни к кому сострадания (это вообще отличительная черта мономанов — никому не сочувствовать), и военный коммунизм вовсе не привел к духовному подъему, подъем начался потом, от радости, что он кончился. Но если это единственная возможная цена за радость — увидеть, как рушатся все эти тюремные стены? Если это единственная возможность хоть на секунду разогнать зловоние, великим мастером описывать которое был главный наш клаустрофоб Чехов: «С работ, производимых чаще в ненастную погоду, каторжный возвращается в тюрьму на ночлег в промокшем платье и в грязной обуви; просушиться ему негде; часть одежды развешивает он около нар, другую, не дав ей просохнуть, подстилает под себя вместо постели. Тулуп его издает запах овчины, обувь пахнет кожей и дегтем. Его белье, пропитанное насквозь кожными отделениями, не просушенное и давно не мытое, перемешанное со старыми мешками и гниющими обносками, его портянки с удушливым запахом пота, сам он, давно не бывший в бане, полный вшей, курящий дешевый табак, постоянно страдающий метеоризмом; его хлеб, мясо, соленая рыба, которую он часто вялит тут же в тюрь-

ме, крошки, кусочки, косточки, остатки щей в котелке; клопы, которых он давит пальцами тут же на нарах, — все это делает казарменный воздух вонючим, промозглым, кислым <...> Я спрашиваю каторжного, бывшего почетного гражданина: «Почему вы так неопрятны?» Он мне отвечает: «Потому что моя опрятность была бы здесь бесполезна».

Это к вопросу о теории малых дел, типа покраски подъездов. Опрятность, сказано вам, была бы тут бесполезна. И если для того чтобы в эту вонь хлынула струя свежего воздуха, надо обрушить стены — какая разница, что потом не будет крыши? Крыша все равно уже почти уехала, а подышать несколько минут чистым воздухом все-таки главное, если не единственное, удовольствие в жизни.

Напоследок одна история, которая будет читателям «Русского пионера» более понятна:

Короче, Мамут — я от него и знаю — хотел получить от Абрамовича совет по бизнесу, вкладываться там во что-то или нет. Абрамович всячески уклонялся от прямого ответа. Наконец Мамут поймал его в лифте и напрямую спросил: покупать?

— Слушай, — сказал Абрамович в своей мягкой манере. — Ты вообще представляешь, чем это кончится?

— В смысле сделка?

— Нет, — сказал Абрамович досадливо. — Вообще все это.

— В смысле в России?

— Нет. Вот твоя лично жизнь.

— Ну, представляю, — сказал Мамут не очень уверенно.

— Ну вот. Из этого и надо исходить.

Поняли? Вот из этого. А не из того, сколько будет стоить батон хлеба и кто подаст стакан воды. Может так случиться, что вам и батон уже не понадобится, и самое обидное — что пить не захочется.

Всякий, кому доводилось платить — а таких в мире все-таки большинство, — знает, что всякому расчету соответствует своя валюта. Поговорим сначала о вещах простых и буквальных, то есть о том, какими деньгами лучше расплачиваться в повседневной практике. Как у любого стихотворного размера наличествует свой семантический ореол (об этом филология догадалась на удивление поздно, после работ Тарановского и Гаспарова), так и всякой валюте соответствует свой ореол расплат. Примеры: пятистопный хорей («Выхожу один я на дорогу») соответствует теме выхода из одного пространства в другое: выходила на берег Катюша. Гул затих, я вышел на подмостки. Выхожу я в путь, открытый взорам. Осталось понять, заложено ли это мистическим образом в стихотворном ритме или являет-

ся, по мысли Гаспарова, «механизмом культурной памяти», то есть все авторы, пишущие после Лермонтова, так или иначе транслируют настроение, заставившее его выходить сквозь туман на кремнистый путь.

Так и доллар, например, имеет свою семантику, то есть набор вещей, за который приятнее платить этой бессмертно зеленой валютой, неважно, в наличном или пластиковом виде. За доллар хорошо покупать одежду и обувь, ибо это добротная, прочная, удобная одежда. Американцам чужда идея роскоши, американская одежда предназначена для работы или войны, и потому я так долго проходил в американском военном камуфляже, в американских военных ботинках — пока не дождался в Принстоне глобальной распродажи и не купил себе давно желанный «Red Wing Shoes», задуманный изначально для строительства и горных дорог. Американская одежда не для понтов. Эти лейблы могли быть престижны разве что в Советском Союзе, где вообще все иностранное, вплоть до туалетной бумаги, служило владельцу неиссякаемым источником самоуважения. А так-то джинсы — рабочая одежда, для простых, и зимняя куртка с воротником из койота, приобретенная в любимом магазине «Army and Navy» в пригороде Кливленда, то-

же нужна не для роскоши, а чтобы было тепло. И в ней реально тепло, как и в советском караульном тулупе, овчинном, огромном, как дом, купленном за пять тысяч рублей в одном военторге. Такой тулуп мог быть приобретен только за рубли, и он является таким же культурным брендом (согласно Мединскому), как и автомат Калашникова. Просто тулуп часто связан с представлением об охране и караульной вышке, но в СССР, да и в России, почти все с этим связано. Все русские романы начинаются в салоне, а заканчиваются на каторге: других локаций нет.

Я вообще как-то предпочитаю отдавать рубли: не потому, что в девяностые годы мне успели внушить мысль об их глубокой, непоправимой деревянности, а потому, что рубли я зарабатываю, а доллары нет. Я могу их купить, конечно, но это совсем другое дело. Деньги, говаривала Нонна Слепакова, — самый легковосстановимый ресурс, но это касается только рубля: доллары — скорее средство консервации денег, а стало быть, и потраченного времени. Это такой формалин, которым заливается потраченное время — и вот они лежат где-то, как зримое выражение потраченной жизни: она не просто прошла, она превратилась в доллары. Большую часть жизни я работал, все остальное было мне не очень инте-

ресно. Заработок состоял из двух частей — как бы из золота и сопутствующей ему руды. Часть денег, полученная за эту работу, превращалась в жизнеобеспечение, то есть в еду, то есть в г... Другая часть, бессмертная и нетленная, откладывалась и превращалась в доллары, потому что в них хранить надежнее, и потому доллар я отдаю с трудом и только за что-то очень хорошее, а рубль — практически за все. Он дан мне для того, чтобы поддерживать хрупкое пламя жизни. Рубль — мой быт, лампочки, которые перегорают, и майки, которые изнашиваются, а доллар — это как бы вечное. Это как в моей литературной продукции есть колонки, которым я не придаю значения, интервью и репортажи, которые я ненавижу, а есть, допустим, романы и стихи; так вот рубль — это журналистика, а доллар — литература. Серьезную литературу не будешь писать по ничтожным поводам, и доллар не будешь тратить просто так, его отдаешь за серьезные, символические вещи типа ботинок, не знающих сноса, или типа книг Гэддиса и Гэсса, или типа синей куртки Abercrombie & Fitch, которая давно стала лиловой от старости и залатана во многих местах чудодейственной портнихой из соседнего подъезда, но сохраняет хемингуэевское очарование.

Что касается евро, я никогда к этой валюте не относился всерьез: фантики и фантики. Мне кажется, скоро ее не будет или она резко потеряет в цене. Я не верю, конечно, ни в какие биткойны и прочие криптовалюты, держащиеся на весьма хрупких конвенциях, но евро, по-моему, как раз что-то вроде этого. Не бывает никакой единой Европы, и Тэтчер завещала англичанам никогда не отказываться от фунта, и французы тоскуют по франку, и потому если у меня в руках оказываются евро — мало ли, заплатили за перевод книжки на итальянский или за лекцию в Дублине, — я спешу их потратить, пока эта глобальная фикция еще не разоблачена, и потратить на что-нибудь столь же эфемерное. Например, на отпуск, на обед, который будет состоять из чего-нибудь столь же дорогого и не-серьезного вроде морских гадов, экзотических, чудесных, но не насыщающих. Евро тратить не жалко — уже потому, что за ними ничего не стоит. В долларе ощущается добротность американского, серьезного отношения к делу: на нем не просто так написано *In God we trust* (а ниже, как шутил Владимир Новиков, невидимой краской, проявляющейся только в ультрафиолете: но и сами не плошаем). Что может быть написано на евро? У меня как-то нет доверия к Европе: это была вотчина грубых и неприятных людей,

которые потом стали изощряться, извращаться, утончаться — пока не превратились в полноценных вырожденцев, снимателей кино про секс-меньшинства у беженцев. Не зря в Америку бежали именно те, кто не мог развернуться в Европе. Короче, не верю и по возможности быстро трачу.

С юанем я дела пока не имел и не собираюсь. Я не думаю, что юань станет главной мировой валютой — хотя бы уже потому, что Китай представляется мне в виде отдельной страны, другой вселенной, и никакая его экспансия невозможна. Русские, переезжая в Америку, становятся идеальными американцами, но китайцы, даже переезжая в Россию, остаются китайцами. Юань станет всемирной валютой, только если весь мир станет китайским. Это возможно, но не гарантировано.

И вот, товарищи, в духовной сфере каждой трате тоже соответствует своя валюта — надо только знать, чем платить. Есть, например, такая прекрасная вещь, как похоть: сразу хочу отделить ее от любви, потому что недооценка похоти чревата многими ошибками, отказом от великих удовольствий! Любовь как раз не сулит особенного удовольствия, а похоть — высокое наслаж-

дение. В разряд похоти я включаю радость от обладания безусловно красивым, умным, привлекательным, престижным и даже симпатичным существом, к которому вы чувствуете привязанность, но с любовью это не имеет ничего общего. Некоторые умудряются жизнь прожить и не полюбить, и так у них все и идет по разряду обладания. Любовь как раз не предполагает обладания, потому что нельзя любить вещь доступную, понятную; любовь неразрешима, и даже если вы спите с любимой, она все равно лишь земной представитель чего-то невозможного, не бывающего. Вот Чехов писал о чувстве приятной, но тяжелой грусти, которое всегда владеет нами при виде красавиц; и это именно оттого, что они как бы земные представительницы недосыгаемой субстанции. Таких женщин не просто желают — без них не могут. Самое ужасное, если у них при этом дурной характер: ты видишь в них небо, а это небо склочно и вдобавок корыстолюбиво. Это тоже бывает. Бывает и наоборот — тогда они сущие ангелы. Вот, скажем, Вера Глаголева. Она умерла, и это ужасно, но есть спасительная мысль, что она просто вернулась туда, откуда была послана к нам для временного любования. Как можно было обладать Верой Глаголевой? Все равно что обладать вечерним пейзажем, августовской поляной под лучами

солнца, по дороге с дачи на станцию. Любовь — это чувство мучительное, неудовлетворимое, не знающее покоя. Оно не проходит, и если не давать ему воли — оно может иссушить или задуть. Любовь неудовлетворенная еще переносима и, более того, плодотворна, но любовь, которой запретили быть, — это гангрена, медленное омертвление жизни. За привязанность, из которой иногда получается гармоничная семья и даже хорошая лирика, платишь временем, деньгами, иногда работой, хотя обычно они друг другу не мешают. За любовь платишь независимостью, а это самая драгоценная валюта. Человек, лишенный самодостаточности, лишается и обычной ровной походки, его начинает шатать ветром, он становится болезненно зависим от телефона, не переносит одиночества, его преследуют ужасные воспоминания о прошлом и неутешительные мысли о будущем. Сказать, в чем преимущества любви, затруднительно: как писал один ученый, вред любви доказан, а польза неочевидна. Вероятно, можно утешаться тем, что вы испытали редкую и самую сильную эмоцию, которая сильнее даже страха. (И некоторые нарочно прививают себе любовь, чтобы избавиться от страхов, и это действует, но очень недолго; зато избавиться от любви потом уже невозможно никак, нет такой силы, которая бы ее вытеснила.

Это как в надежде избавиться от чумы заразиться холерой, а от холеры потом куда деваться?)

Есть всякие более тонкие покупки, за которые приходится платить более тонкими валютами. Скажем, творчество: хорошая вроде бы вещь, приносящая не только деньги и престиж, но и высокую самооценку, а это товар редчайший и дорогой, ни за какие деньги не купишь. (Этим, кстати, объясняется тяга нормальных вроде бы людей, вполне состоявшихся в коммерции, обязательно издать еще и книгу стихов. Хочу сделать анонс: в одном из ближайших номеров «Русского пионера» появится цикл стихов одного чрезвычайно успешного менеджера, широко известного в деловых, политических и издательских кругах. Он основал несколько успешных изданий, засветился в турбизнесе, держал яхт-клуб, да много чего держал. Потом он поехал в Италию и там влюбился. Цикл пронзительных лирических стихов называется «Влюбленный коммерсант». Стихи приличные, кстати, даже хорошие. И их публикация, по собственному признанию, волновала его много больше, чем все переговоры за последние три месяца.)

Но это самое творчество — оно же тоже требует валюты. Оно денег стоит. И платить надо

не жизнью, как вы думаете — вам бы все покрасивше, — и даже не любовью (любовь — такая удивительная вещь, что ею нельзя расплатиться ни за что: ее и не купишь, и, что самое обидное, никому не впаришь. Вроде брильянта, которым приятно обладать — но его же никому нельзя показать!). Платить приходится эмпатией, да, состраданием, альтруизмом, любовью к ближнему. Творчество отбивает к этому ближнему всякий интерес. Он вам становится вообще на фиг не нужен. Это довольно ужасное ощущение, потому что мы привыкли считать безразличие к окружающим чем-то вроде греха, душевного порока. А вот Ландау, например, так интересовался своей физикой, что женщин воспринимал чисто как развлечение. А Пушкин интересовался своими стишками и драматургией. И очень мало на свете творцов, которые, выбирая между единственным экземпляром начатой главной книги и котеночком, стали бы спасать из огня именно котеночка. Это распространенный тест: что бы вы вынесли из огня — «Мону Лизу» или котеночка? «Мону Лизу» что ж выносить, она чужая. А если тут главный труд и дело всей жизни? А котеночек все равно потом сдохнет во дворе максимум через двадцать лет, хорошо, пусть это будет кошачий долгожитель, он проживет бессмысленных пятьдесят лет, но что толку? Ко-

роче, размышления о толке — они тоже признак душевной болезни, потому что между живым и неживым естественно выбирать живое. Но для творца это как раз неестественно, поэтому платой за шедевры, полные высокой человечности, часто становится полная расчеловеченность. Кто об этой плате не осведомлен, тот часто ударяется о жизнь, как фэйсом об тейбл. Думаю, в Литинституте должны учить именно жить с этой душевной патологией, а не писать: писать все и так умеют, если пишут. Если болезнь неизлечима — а писательство и рисовательство неизлечимы, — надо учить с ними жить.

Вот, товарищи, какая важная вещь валюта, и не зря с ней связана одна из самых трагичных советских историй. Известному валютчику, советскому подпольному миллионеру Яну Рокотову (1927—1961) дали сначала восемь лет, потом пятнадцать, а потом расстрел. Это было вопиющее нарушение всех судебных норм, потому что, во-первых, Рокотов никогда не покушался на чье-либо здоровье, во-вторых, нельзя за одно преступление судить более одного раза, а в-третьих, закон не имеет обратной силы. Но Хрущеву плевать было на закон, он вообще не слишком уважал все эти буржуазные условности, и когда ему в ГДР сказали, что в Москве свирепству-

ет черный рынок, он начал рвать и метать, потому что это была публичная пощечина — и от кого? От немцев! И Рокотова расстреляли, хотя у него было много смягчающих обстоятельств, а главное — он был финансовым гением, фактическим создателем этого самого черного рынка в СССР, и иностранцы восхищались его умением обходить закон. Была даже легенда, что сами следователи его уважали и ему сочувствовали и предложили ему последнее желание, и это желание было проехаться по всем московским местам его боевой славы, по ресторанам и значным барам, и его под охраной провезли, и все были потрясены: как, Косой?! (Он был одноглазый.) Купец?! (Это была его кличка.) Ты живой?! Да, отвечал он, наверное, да, там договорились, и меня вышлют. Буду жить там — и махал рукой на Запад. И потом исчез навсегда, и все знали, что он там.

Но, конечно, это легенда. Потому что никогда бы они на такое не пошли — они же не романтики, и нет в них ни мягкосердечия, ни сострадания. Они тоже платят и понимают свою валюту: раз они родились такими ужасными людьми, что им нет на свете никакого места, кроме как среди палачей, надо им расплатиться с мечтой о семейном счастье и чистой совести. Если люди

с такими задатками получают место в социуме, они платят за это спокойным сном и малейшими проблесками человечности: только жрать, только перекусывать глотки железными зубами. И Роко-тов понимал, с кем имеет дело. Он одному журналисту так и сказал: конечно, говорит, они меня расстреляют, им без этого нельзя. Но два года я прожил как человек.

То есть был настоящим валютчиком: понимал, чем платил.

Сочинение на тему «Как я провел лето» всегда несколько похоже на «Как я провел жизнь», хотя ее, конечно, не проведешь. Догадался я об этом задолго до песенки Олега Митяева и тогда же сочинил прилагаемое стихотворение, которое и сейчас вполне себе выражает мои чувства. Во всяком случае, выразить их точнее я не могу. Написать лучше, пожалуй, могу, потому что как-никак 25 лет прошло. Но лучше не всегда значит точнее.

Так и вижу подобье класса,
Форму несколько не по мне,
Холодок рассветного часа,
Облетающий клен в окне,
Потому что сентябрь на старте
(Что поделаешь, я готов).
Сплошь букеты на каждой парте —

Где набрали столько цветов?
Примечаю, справиться силась
С тайной ревностью дохляка:
Изменились, поизносились,
Хоть и вытянулись слегка.
Вид примерных сынков и дочек —
Кто с косичкой, кто на пробор.
На доске — учительский почерк:
Сочиненье «Как я провел
Лето».

Что мне сказать про лето?
Оглянусь — и передо мной
Океан зеленого цвета,
Хрусткий, лиственный, травяной,
Дух крапивы, чертополоха,
Город, душный от тополей...
Что ж, провел я его неплохо.
Но они, видать, веселей.
Вон Петров какой загорелый —
На Канары летал, пострел.
Вон Чернов какой обгорелый —
Не иначе, в танке горел.
А чего я видал такого
И о чем теперь расскажу —
Кроме Крыма, да Чепелева,
Да соседки по этажу?
И спросить бы, в порядке бреда,

Так ли я его проводил,
Не учителя, так соседа —
Да сижу, как всегда, один.
Все, что было, забыл у входа,
Ничего не припас в горсти...
Это странное время года
Трудно правильно провести.
Впрочем, стану еще жалеть я!
У меня еще есть слова.
Были усики и соцветья,
Корни, стебли, вода, трава,
Горечь хмеля и медуницы,
Костяника, лесной орех,
Свадьбы, похороны, больницы —
Все как водится, как у всех.
Дважды спасся от пистолета.
Занимал чужие дома.
Значит, все это было лето.
Даже, значит, когда зима.

Значит, дальше — сплошная глина,
Вместо целого — град дробей,
Безысходная дисциплина —
Все безличнее, все грубей.
А заснешь — и тебе приснится,
Осязаема и близка,
Менделеевская таблица
Камня, грунта, воды, песка.

Дело было в Чернобыле, в пятнадцатую годовщину взрыва, мистическая природа которого стала с тех пор только наглядней: до сих пор спорят, из-за чего он случился, и оттого тем ясней, что случился он из-за всего. Некоторые люди все чувствовали: я в это время лежал в больнице, куда меня положил военкомат (так у меня там и не нашли ничего, и я отслужил 87—89). Накануне Чернобыля все смотрели телевизор, и вдруг у одного крайне раздражительного мужика случился эпилептический припадок, или судороги, или не знаю что: сначала он начал странно хохотать, то есть просто повторять «ха, ха, ха», размеренно, через краткие промежутки, потом сильно замахал правой рукой, а потом упал со стула и начал биться. Прибежала ничего не умеющая сестра, вечер, врачей нет, пока бегали за дежурным, он

все колотился и выгибался. А на следующий день Чернобыль. Тогда никто ничего не знал, но позже я сопоставил.

А пятнадцать лет спустя родная контора отправила меня в Припять, куда уже водили экскурсии, хотя и с массой предосторожностей, с полным запретом на купание-загорание. Такую экскурсию — с двумя ночевками в сборном алюминиевом домике — нам с фотографом организовала киевская коллега Машка, предмет моих студенческих вожделений, а впоследствии просто добрый друг. Первым пунктом в поездке значился осмотр кладбища мертвой техники, она вся была заражена и согнана на огромный полигон, и теперь там стояли стройные ряды армейских грузовиков, бронетранспортеров, экскаваторов. Фотограф Максим Бурлак, с которым мы поехали в Чернобыль, имел страсть залезать на любую доступную верхотуру и снимать все оттуда. В остальном он был рослый, щекастый, очень флегматичный молодой человек с истинно питерской любовью ко всякому смешному абсурду. Он и здесь полез на вышку, а поскольку я не хотел отставать, то влез за ним. Вышка почему-то ужасно шаталась, и, озирая ряды техники, я натерпелся дополнительного ужаса. Казалось, что радиация прямо-таки витает в воздухе. На самом деле, как

узнал я впоследствии из статьи Василия Голованова и процитированных им расчетов ядерщика Константина Чечерова, никакой смертельной радиации там не было с самого начала, потому что девяносто процентов топлива из реактора улетело в первые десять секунд после взрыва на пятнадцатикилометровую высоту и там развеялось. Но поскольку выводы Чечерова до сих пор противоречат множеству других версий, все равно ничего не понятно. Я уж не говорю о том, что, по этой его версии, можно было не вывозить даже Припять, город, который с тех пор остался как бы советскими Помпеями, — бывшие его жители до сих пор поддерживают виртуальное существование научного городка на отдельном сайте, и читать этот сайт, особенно после начала российско-украинской гибридной войны, невыносимо вдвойне. Про версию с выброшенным в атмосферу топливом я тогда не знал, и страшноватые слова Голованова о том, что ликвидация аварии принесла больше вреда, нежели сама авария, тогда еще не были сказаны. Но был же так называемый рыжий лес, который хоть и спилили почти весь, но несколько участков уцелели — рыже-красные сосны, спаленные радиацией; и тысячи облученных пожарных тоже были, и жуткие рассказы о заживо гниющих, выхаркивающих легкие ликвидаторах... Правда, сейчас, пятнадцать

лет спустя, в чернобыльской зоне уже вовсю обитали самоселы — частью бывшие обитатели, вернувшиеся к своим домам, а частью и новые люди, привлеченные возможностью пожить в практически мертвом, бесконтрольном, никому не принадлежащем пространстве. Было среди них и некоторое количество ученых, приезжавших в полевых условиях наблюдать за последствиями запредельных облучений, — но насчет ученых я, как вы увидите позже, не уверен.

К слову сказать, я собирался все это написать тогда, но отделался обычным репортажем, умолчав обо всем главном. Про Припять написал, а про второй дом не стал. Так это все во мне и сидело, периодически возвращаясь в снах, — одно из самых жутких, подлинно хоррорных воспоминаний, и не знаю, смогу ли я здесь передать этот ужас, но лучше поздно, чем никогда. Ужас начался на подъезде к Припяти: был ужасный красный закат, и там Бурлак срежиссировал одну из самых знаменитых впоследствии своих фотографий. Он поставил нас с Машкой так, что наши длинные тени почти дотягивались до истрескавшихся белых букв «Припять» на въезде в город. Получились два таких испепеленных хиросимских силуэта в адском красном свете, рядом с полуразрушенной автобусной остановкой среди остатков

хвойного леса. Ночевали мы рядом с Припятью, а утром поехали ее осматривать.

Самым ужасным там — теперь-то, думаю, природа доела все — были детский сад и еще, конечно, парк культуры, построенный к Первомаю. Его и должны были открыть 1 мая, весь город готовился, и в результате там теперь возвышалось в центре большое колесо, никогда в жизни никого не покатавшее. И скрипели огромные качели, на которые Бурлак посадил валявшуюся рядом пластмассовую куклу без волос, как бы облученную, и заснял. Скрип этих качелей и каруселей я до сих пор слышу с ужасной отчетливостью. На некоторых дверях и стенах были надписи черной краской: «Прощай, Припять!», «Прощай, юный мой город!»... А в детском саду, где уже протекала крыша и коробились стены, висела стенгазета все к тому же Первомаю, и на дверках шкафчиков были разнообразные зайчата и лисята. Я понимал, что публично рыдать будет вовсе уж неприлично, но вслух старался не разговаривать, потому что рыдание непременно прорвалось бы. К тому времени я уже десять лет жил без всякого Советского Союза и кое-что забыл, но многое и помнил, оказывается; помнил я ощущение большой страны, которая в случае чего тебя сохранит. Она же может и раздавить, кто спорит, но ребен-

ку, особенно в семидесятые, в ней было уютно. Конечно, бесчеловечно растить детей среди всех этих сутеевских зайчиков-ежиков, под которыми клокочет огненная магма, ужасный подземный ад, в который так легко провалиться; но в дряхлеющем, остывающем виде, когда из нее уже выветрилась вся радиация, эта империя была даже трогательна, и на фоне того, что в России уже тогда поднималось и зрело, она казалась старой училкой, уже не могущей навести порядок в классе. И я понимал году в восьмидесятом, что эта старая училка — у, как она зверствовала в молодые годы, но поседела, ослабела, смирилась! — меня уже ни от кого не защитит, надо как-то приспособливаться самому, а может, не приспособливаться, а бороться... Невыносимо было бродить по этому покоробленному детсаду, который так и бросили со всей наглядной агитацией по стенам, с кукольными комнатами и игрушечными колясками, с крошечными столиками и стульчиками в столовой. Ужасные вещи делает с человеком природа, и на что уж природна была сама советская власть, но жалко было смотреть на то, как настоящая природа ее жрала: как зарастала травой крыша, как трескались окна, как никаким ремонтом было уже не спасти спальню... Я понимал, конечно, что это был нормальный советский детсад, где детей мучили манной кашей и коллек-

тивными, синхронными высаживаниями на горшок, где всем наносилась неизбежная травма социализации, которую мне, скажем, нанесли только в первом классе, а до того я жил в домашней теплице; но теперь, когда на этот детский сад набросилась настоящая природа, куда более тоталитарная по своей сути, его было жалко невыносимо. Даже Машка, кремневая женщина, которая, в отличие от меня, прошла детсад и всю жизнь его ненавидела, молчала и только охала. А оттуда нас повели в дом, в одну из типичных припятских многоэтажек на улице, кажется, Курчатова, — там сохранилась почти вся мебель. Книг не было, книги увезли, там жили такие люди, которые спасали библиотеки. В основном это была советская техническая интеллигенция, и жила она очень неплохо: в Чернобыле прилично платили. Особенный ужас был в том, что сначала всех вывезли сразу после аварии, а потом, в середине мая, завезли во второй раз — уже забрать, что можно, и проститься с городом навсегда. Вот тогда, говорят, стон стоял, все голосили, как по покойнику, вся техническая интеллигенция вспомнила свои сельские гены. И особенно ужасно было видеть в одной квартире пианино, на котором нельзя уже было взять ни одной ноты — тоже все покорибилось, часть струн лопнула, клавиатура выгнулась горбом. Вообще, снаружи это был

нормальный инструмент, как и Советский Союз был снаружи нормальной империей, — но стоило открыть крышку и увидеть эти клавиши горбом... Да, это был невыносимо страшный дом, и из окон его открывался вид на тот самый парк развлечений с неподвижным колесом, и вдобавок была весна, все зеленело (кроме, разумеется, рыжего леса); и впервые, кажется, эта весна воспринималась не как возрождение, а как ужасающий триумф распада. Тоже природа, тоже всеразьедающая и всепоедающая сила жизни — именно тут видней всего была вызывающая иноприродность человека; конечно, когда он эту самую природу преображает по-базаровски и по-мичурински, он к ней беспощаден, но еще беспощадней она к нему, когда он почему-либо уходит, оставляя дело рук своих. Сквозь этот дом, последнюю советскую новостройку, уже прорастала незримая трава, его уже заплетали лианы: «Зверь сплет, где Святилище было твое, а Летучие Мыши украсят жилье, и стеречь будет Кобра пустой твой подвал, и гроздь карелы, всей горечью спелы, взрастут, где ты спал! Я наслал на тебя миллионы лиан, я велел своим Джунглям вломиться в твой стан, в твоём доме бамбук вырос, кровлю губя, — и плети карелы, в объятьях умелы, сдавили тебя!» Все так и случилось, Киплинг, «Песнь Маугли Людям», пер. Нонны Слепаковой.

И после этого дома мы никуда уже не пошли, а отправились в наш алюминиевый модульный дом и там жестоко напились, ибо считается, что алкоголь способствует выведению из организма нуклидов или как там это называется. Но слишком много пить было нельзя, потому что две бутылки мы должны были завтра отвезти самоселам — радиологине из Петербурга (это жена) и мужу из Киева, энтомологу. Они заселились в один из брошенных домов, усиленно его обустроили и наблюдали, как меняются под постепенным действием радиации местная флора и обитающая в ней фауна.

Бурлак, на которого никогда не действовала самая готическая обстановка и даже водка, не мог заснуть, хотя прежде засыпал сном младенца везде, где щекастая его голова могла коснуться горизонтальной поверхности. Некоторое время он кряхтел, потом спросил:

— Быкман... а ты точно уверен, что здесь не ходят мутанты?

— Бурлый, ты же видел тут единственного мутанта. Помнишь, Машка нашла значок с Чебурашкой? Вот это он и есть.

— Ты человек письменный, — сказал Бурлак, — а я это... зрительный. Я очень ясно вижу, как там, за стенами, сейчас ходит.

— Кто ходит?

— Не знаю. Но ужасный выродок. Я даже курить не пойду.

— Слушай, что за бред...

— Ничего не бред. Ты увидишь завтра.

— Ну тебя к черту, — сказал я, хотя мне стало крайне неудобно.

Алюминиевые наши стены были явно ненадежны, а в лесу в самом деле слышались какие-то трески и скрипы, какие слышатся во всяком весеннем лесу, пробуждающемся и все такое, но здесь они были какие-то особенно звучные и влажные. Черт его знает, что там делалось. Мне вспоминался «Забытый эксперимент» Стругацких: лось с белой плесенью вместо глаз и чрезвычайно разросшимися рогами, которые с трудом удерживала его подламывающаяся голова. Все мы были жертвы забытого эксперимента. Вели-

ким пророком был Тарковский, особенно в том, что зоны-то никакой и нет, обычная техногенная катастрофа, все выдумал Сталкер, чтобы вернуть людям веру и как-то объяснить рождение у него девочки-Мартышки. А мартышки иногда рождаются и просто так, без всякого посещения. Ничего не было — ни комнаты, исполняющей желания, ни мясорубки, ни инопланетян. Все просто взорвалось от бесхозяйственности, а мы теперь считаем себя жертвами великого эксперимента. Дальше думать эту мысль было страшно, и часам к трем я все-таки заснул.

Утром мы поехали на реку, купили консервов и хлеба в небольшом местном магазинчике, обслуживавшем ликвидаторов и туристов, и пошли делать фотографии с моста. Мимо брел странный мужик в соломенной шляпе. Он неожиданно подсунулся ко мне и сказал:

— Буханку-то кинь.

— Зачем?

— Буханку-то кинь.

Буханку было жалко, но почему-то я понял, что возражать ему не надо, и кинул с моста кру-

глуую черную буханку. Тотчас рядом с ней раз-
верзлось нечто вроде громадной водяной ворон-
ки и поглотило ее целиком.

Я не успел даже охнуть и только вглядывал-
ся в воду, но там уже не было ни буханки, ни во-
ронки.

— И сия пучина поглотила в один момент, —
сказал мужик в шляпе.

— Это что было? — спросил Бурлак, не успе-
вший ничего заснять.

— Сомы, — сказал мужик и прошел дальше.
Уже перейдя мост, он обернулся и крикнул:

— Разъелись тут!

Непонятно было, имеет ли он в виду нас или
сомов, но я уже заметил эту особенность мест-
ных жителей: закончив разговор, они вдруг воз-
вращались к нему и добавляли нечто вовсе уж
несуразное.

К пяти часам, когда уже темнело — и закат
был не то, что вчера, нежнейший, сине-розо-
вый, — нас ждали в сельском доме. Он стоял на
окраине опустевшей деревни, ближе к лесу, и лес

подступал к нему уже вплотную. Собственно, это был обычный сельский дом, но страшно было то, что он единственный: остальные развалились, и в них, понятное дело, не горело ни огонька, а кое-где уже провалились крыши. Этот же был нормальный, обжитой, с единственной на первый взгляд странностью: на входную дверь кроме обычной была приколочена ручка на высоте сантиметров десяти от пола. Такие же ручки были на всех дверях, во всех трех комнатах.

— Это вы для гномов? — спросил я хозяйку. Еще можно было шутить. Хозяйка была с виду обычная дачница, в любом дачном поселке таких полно: тренировочные штаны, цветастая майка, кудряшки, очки — классический старший научный сотрудник на отдыхе. Она неожиданно замаялась, и ответил хозяин:

— А понимаете, котики... котики...

— Какие котики?

— Ну живут у нас котики, — пояснил он неохотно. — Они гуляют. (Он говорил мягко, фрикативно: хуляют.) А ночами приходят. И чтобы им удобно было открывать, мы сделали ручки.

— А можно посмотреть, как они открывают? — загорелся Бурлак. Ему представился уникальный кадр: котик ночью возвращается с котования, открывает дверку...

— Сейчас они не придут, — сказал хозяин еще недружелюбней. — Они гуляют.

На веранде, где вполне уютно кипел настоящий самовар и горела керосиновая лампа (тока в этой деревне не было с того самого восьмидесят шестого), лежал на диване странный предмет: деревянный обод, метра полтора в диаметре, затянутый сеткой.

— Это накомарник у вас? — спросил я.

— Да зачем же? — засмеялась хозяйка. — Зачем нам накомарник? Нет, в самом деле, как вы себе представляете, зачем же нам накомарник?

Что-то она слишком механически веселилась, как тот эпилептик в больнице, и что-то слишком долго переспрашивала.

— Ну мало ли, — сказал я смущенно. — От комаров.

— Нет, это не накомарник! Совсем не накомарник! Это сачок!

— А почему без ручки? — спросил Бурлак.

— Но зачем же ручка! — удивился хозяин. — Какая же ручка! Ручка совершенно не нужна.

— Но как же...

— Допустим, — сказал хозяин, — вы видите редкую бабочку. Тут есть довольно редкие бабочки. Я сделал коллекцию, сейчас у меня нет, я отослал. Но вы удивились бы, какие есть экземпляры. Вы были бы просто действительно удивлены. Вы видите бабочку. Но если вы станете подкрадываться, вы можете быть услышаны ею! Тогда вы набрасываете этот сачок — вот так! — и он взял обод, собираясь бросить его, как фрисби, — и накрывает бабочку. Вот так! Она тогда, конечно, приседает, — он присел, — и вот она уже накрыта. — Он натянул на голову кепку.

— Никогда не слышал, чтобы так ловили, — очень тихо сказал Бурлак.

— Да ладно, они профи, — отозвался я.

Сели за стол, извлечены были рыбные консервы и даже батон сырокопченой колбасы.

— А многие возвращаются, из бывших жителей? — спросила Машка, которой ее киевская газета заказала материал именно про самоселов.

— Они возвращаются, возвращаются, — закивала радиологиня. — Но очень быстро умирают.

— Это как же?

— А вот я не знаю, чем это объяснить. Когда они здесь были во время аварии, то облучились, конечно, но тогда выжили. А потом они возвращаются, когда уже радиации почти нет, и тогда вдруг умирают. Тут даже целое кладбище есть самоселов, которые вернулись. Они почти сразу умирают. Иногда здороваешься с человеком, на следующий день глядь — он умер.

Бурлак перестал есть и тоскливо поглядывал на дверь.

— Некоторые уехали, — сказал киевлянин, — и оставили собак. Собаки ничего, выживают.

— Не мутируют?

— Нет, собаки не мутируют. На собак вообще не очень действует радиация. Вот вы знаете, в Америке есть Йеллоустонский заповедник? Он обязательно взорвется рано или поздно, там очень тонкий слой земли, всей Америки тогда не будет. Половины уж точно не будет, — пообещал он с мрачным удовлетворением. — И там огромная радиация, страшная радиация. Там видели таких муравьев, совершенно белых! Альбиносные муравьи. Вследствие облучения. Там облучение идет непосредственно из-под земли, поскольку очень тонкий слой. Исключительно тонкий. И там снимали белых муравьев, нелетающих, но крылатых. Поведение их было крайне нетипичное.

— В каком смысле нетипичное?

— Ну нетипичное, понимаете? — сказал он, медленно закипая. — В том смысле, что они вели себя не так, как типичные муравьи.

Бурлак совсем позеленел, и я, надо думать, выглядел не лучше.

— И вот собаки, — продолжал он. — Там тоже страшно много брошенных собак. Потому что

хозяева приезжают, не задумываясь. Собака там бегают по заповеднику, убегает. Искать ее им некогда, так? Их пребывание там ограничено. Уик-энд, как бы сказать, и они там не могут задерживаться. И они уезжают, а собаки остаются бегать. Не отмечено никаких патологий в поведении собак, то есть радиацию они переносят спокойно.

— Ну хорошо, — спросила Машка, надеясь уйти от этой скользкой темы. — А какие-то фрукты здесь растут, ягоды?

— Ягоды так называемого ночного сбора растут здесь довольно хорошо, — сказал энтомолог. — Но, как вы понимаете, возможен только ночной сбор. Дневной опасен.

— А что, днем сильнее радиация? — доверчиво спросила Машка. — Они бывают как бы облучены?

— Ну, это не совсем так, — уклончиво отвечал хозяин. — Мы не можем, знаете, как эти: радиация, не радиация... Что, собственно, они измеряют? Какой, собственно, полураспад? Если стронций, то это уже совершенно другое дело. А если рубидий, то я вообще не стал бы, так сказать... но вы понимаете, мы не можем в это вда-

ваться. Есть некоторые люди, которые в это вдавались, и их потом, как вы понимаете, уже не могли найти.

В эту секунду случился эффект, который в любом фильме ужасов показался бы дурновкусием, но что-то черное ударило в окно и улетело. Все, кроме петербурженки, подпрыгнули.

— Летучая мышь, — холодно сказала петербурженка. — Они всегда, вы знаете, летят на огонь, но выбить стекло она не может.

— Недостаточен у нее вращающий момент, — с пониманием сказал хозяин. — Она, конечно, вращается, но вращающий момент у нее недостаточен.

Он вдруг расхохотался, показав огромные желтые зубы.

— Я шутю, — сказал он, внезапно оборвав смех. — Многие шутят, и я шутю.

Кусок не лез в горло, и пить абсолютно не хотелось.

— Но я пойду, тем не менее, поищу, — вдруг сказал хозяин. — Сейчас может вылететь браж-

ник, тут любопытный бражник. Бражник-языкан. Сейчас у него самое время лёта, время, когда весной он начинает радостно, радостно...

Он не договорил и вышел. С его уходом из радиологини словно вынули стержень. Она стала отвечать вяло и все странно оглядывалась на дверь, словно ждала котика. Но котик не являлся, зато в одной из комнат, дверь которой выходила на террасу, началось странное движение. Там кто-то подпрыгивал или, может быть, чеканил мяч.

— А что это там? — набравшись смелости, спросила Машка после нескольких подряд равномерных стуков.

— Там Вася играет, — спокойно, слишком спокойно сказала радиология.

Вася был, вероятно, котом, но играл он как-то странно — то ли прыгал на пол и отскакивал, то ли бросал и ловил большой резиновый мяч. Я подумал, что, если сейчас из-за этой двери донесется тонкий плач, похожий на вой, я прямо здесь умру от разрыва сердца. Но ничего не доносилось, и это, может, было еще страшнее.

Через десять примерно минут со стуком распахнулась входная дверь. На пороге стоял хозяин в брезентовом плаще. Зубы его были стиснуты, глаза вытаращены. Я никогда еще не видел таких круглых, налитых кровью глаз.

— Клава! — заорал он сквозь стиснутые зубы. — Клава!

Он орал так, словно сдерживался из последних сил. Кулаки его были сжаты и дрожали.

— Ы-ы-ых! — орал он. — Клава! Где мой фонарь!

— Твой фонарь в сарае, — ровным, полумертвым голосом ответила Клава.

— Его нет в сарае! Я был в сарае! Где, где мой фонарь!

От фонаря явно зависела жизнь, и его личная, и, возможно, наша.

— Ничего! Ничего нельзя положить! Где!!!

— Может быть, его взял Вася, — так же блекло, бумажно произнесла петербурженка.

— Я столько раз! Я столько раз говорил! — Так же внезапно, как появился, он вдруг успокоился, подошел к столу, стащил кепку и вытер рукавом пот.

— Черт-те что с этой работой, — сказал он совершенно спокойно. — Тут замотаешься, уже людей узнавать перестаешь. Вы кушайте.

...Как мы шли в алюминиевый дом по ночной грунтовке, я помню плохо. Помню только, что почти не разговаривали. Только прощаясь на ночь, Машка — самая спокойная из нас — вдруг сказала:

— Ну ты понял теперь?

— Это они от радиации такие?

— Не знаю, — сказала она. — Не знаю. Но знаю только, что теперь все будет как эти два дома. Понимаешь? Либо так, либо так.

—А я Нефть, — вдруг сказала она.

Андрей почти не удивился: мало ли какие бывают кликухи в этой среде. Девочка совсем не выглядела шлюхой, но снялась подозрительно легко. Он, слава богу, не считал себя неотразимым, но предполагать чистую корысть было обидно. По правде сказать, она была плохонькая, почти без шансов: болезненно худая, востроносая. В «Таблице», тогда только что открывшейся — Москва переживала клубный бум, — ей явно было нечего ловить. Но что-то в ней ощущалось, просматривалось, Андрей приметил ее одиноко танцующей, подсел у барной стойки и стал привычно убалтывать, не забывая подпаивать. И она слегка захорошела, но вдруг расширила зеленые

глаза и сказала очень серьезно, низким трезвым голосом:

— Я Нефть.

— За что ж тебя так? — спросил он, думая, что она пьяно и несмешно шутит.

— Это не кличка, — обиделась она; он так и почувствовал, что обиделась и может уйти, с такими худыми и дергаными это бывает, а ему почему-то не хотелось, чтобы она уходила, у него как раз не было других планов на ночь, и ему даже начинало казаться — что значит в тридцать недельное воздержание! — будто он потеряет с ее уходом нечто важное, не совсем понятное.

— Не кличка? А что же, профессия?

— Я просто Нефть, — повторила она упрямо, ничего не объясняя.

— Как скажешь. — Андрей пожал плечами и попросил меню. Кормили посредственно, клуб был спортивный, названный в честь турнирной таблицы, в нем все время орали прыщавые болельщики, и Андрей завернул сюда только потому, что близко было с работы, а ехать

к Нине не хотелось, Нина после аборта стала какая-то не такая.

Нефть ела свою рыбу быстро и жадно, Андрей даже вспомнил: кто хорошо ест, тот хорошо это самое. Его несколько возбудила эта ненасытность. Плохи были дела у девочки, да и у кого они были хороши в девяносто восьмом году? Потом заиграло что-то быстрое, она весело побежала прыгать и потащила его с собой, и он удивился, как радостно и лихо она подпрыгивает. Что делает даже с дурнушками мужское внимание — обалдеть! Нефть подпрыгивает, подумалось ему. Интересно, как она будет падать?

Пала она в ту же ночь, да и с чего бы долго сопротивляться? И тут он начал наконец понимать, что такого в ней все-таки было. Во-первых, как он и догадывался, никакой развязности, фальшивой страстности с криками — всего, что так отвращает в профессионалках. Она отнеслась ко всему серьезно, даже торжественно, словно это был какой-нибудь второй раз. Но главное — он с ужасом, именно с ужасом заметил, особенно когда она уже после смотрела из-под челки этими узкими, почти азиатскими глазами, что в его жизни случилось что-то очень древнее, глубокое, земляное. И всякий раз, когда он в нее погружал-

ся — а она, вот странность, никогда не закрывала глаза и не отворачивалась, и ему казалось, что в эти самые глаза он и проваливался, — было чувство, что он оказывается где-то очень глубоко, глубоко в истории и в земле, что его втягивает древняя, звериная, очень темная стихия. Такова, что скрывать, вообще бабская природа — баба имеет отношение к рождению и смерти, отсюда выражение «накрыться», и даже когда кончаешь в самую поверхностную, самую тупую девчонку, которой красная цена пятьсот по пьяни, ты все равно соприкасаешься с бездной, с абсолютной пустотой, — и Андрей обычно надевал презерватив с тем спокойным, уютным чувством, с каким водолаз влезает в скафандр, отлично понимая, что без скафандра расплющит на фиг. Но тут был совсем особый случай. Что-то подобное он испытал единственный раз на даче, когда начал — только начал! — проваливаться в болото. Тут же выскочил, по счастью. Там было болото, и он знал о нем, но с лесной опушки все выглядело так мирно, так прекрасно! — росла сныть, одуряюще пахло, летали изумительные зеленые бабочки, он никогда не видел таких, и когда он вдруг провалился по щиколотку и выступила вокруг вонючая черная вода, он успел все-таки подумать, какой прекрасный мир его поглощает. Потому что бабочки никуда не делись, и пахло

так же одуряюще, как во всякий летний полдень, пусть к этому запаху уже и примешивалась гребовая гниль. Вот и с Нефтью было так. Она засасывала. Он сам себе удивился: три раза подряд, без малейшей усталости! И даже эти ребра, даже выступающие косточки на бедрах — все удивительным образом подходило ему, хоть они за ночь и ста слов друг другу не сказали. Как-то и без слов было понятно.

Забегая вперед: никаких буквальных, никаких моветонных совпадений типа особенных запахов, черных маслянистых, прости господи, выделений, особенного пристрастия к арабским шейхам. И в паспорте (это уж совсем забегая, потому что два года спустя сыграли свадьбу) было совсем обычное имя, его и упоминать не хочется. Он несколько раз с нею заговаривал об этом странном прозвище, но толку не добился. В конце концов, когда Андрей ничему уже не удивлялся, пришлось признать, бывает и такое: ему досталась Нефть, другим Золото. Золото небось тоже в постели не звенело. Большинство людей просто не догадывается о некоторых простых вещах, о которых ему иногда сообщают избранные счастливицы, но никто не верит, и мир остается непознанным. Пример: Гребовой. Сейчас никто уже не помнит Гребового, а ведь ему ясно, что

все умершие воскресают в другом месте и, возможно, в другом облике, сохраняя все-таки черты неуловимого сходства с прежней своей оболочкой. Сколько раз Андрей замирал, увидев копию старого учителя, или собственной бабушки, или молодого Леннона — в местах неожиданных и новых, где покойник сроду не бывал. Грабовой обладал чутьем на такие случаи и мог бы наладить посмертные контакты, но связался с Бесланом, где, казалось бы, такая помощь нужнее всего, — и его немедленно взяли; но освободили же условно-досрочно! То есть что-то он такое знал, то, на что отзывается всякая душа: иначе не вздрагивали бы мы так часто, почуяв присутствие ушедших любимых. К числу таких же очевидных странностей, которые никому не приходят в голову именно из-за их очевидности, Андрей отнес и связь между Нефтью и нефтью. Попробуем объяснить — все же чему-то нас учили: есть платоновская пещера, в которой находятся символы и прообразы, и есть грубая реальность. На самом деле, конечно, никакой пещеры нет, а символы и образы так и ходят между нами, и задача состоит только в том, чтобы уяснить, чего ты символ, и дальше действовать соответственно. Разумеется, не все семь с половиной миллиардов населения Земли что-то там символизируют: есть совершенно порожние души. Но Андрею

столько раз встречались люди, олицетворяющие рубль, или хамство, или дождь, что со временем он перестал удивляться. Может быть, она была не одна такая. Может быть, в Америке была своя Нефть — обязательно эмигрантка, латинка, допустим, потому что свою добывать тогда было запрещено. Но он, короче, смирился и перестал задавать вопросы, потому что невозможных вещей, с которыми надо было смиряться, вокруг становилось все больше. Но его это уже не заботило, потому что ему становилось все лучше.

Да, Нефть любила его, и он был теперь уже не Андрей, а Андрей Иванович, и жил уже не в Медведкове, а в элитном поселке, и занимался уже не компьютерами, а поднимай выше. На вопрос о том, как это все на него свалилось, он, как и большинство тогдашних удачников, не мог бы ответить. Как-то само все вышло. Когда тебя любит Нефть, обычно не задумываешься о причинах. Полюбила потому, что полюбила. Любовь свободно мир чарует. О своих прежних любовниках она рассказывала неохотно. Был какой-то Миша, он жил теперь в Сибири, а потом переехал в Карелию, но Андрей о нем не спрашивал. Он был вообще не ревнив. Когда тебя любит Нефть, у тебя нет соперников.

Иногда ему становилось интересно: а как выглядит девушка Газ? Нет, конечно, никакого метеоризма и прочих пошлостей. Просто, вероятно, она занимает весь предоставленный ей объем. И судя по тому, как главный газовик, чемпион отрасли, алчно посматривал на свою неофициальную, разумеется, подругу (официальную, бакинскую, никто никогда не видел), она таки много значила в его жизни, да. Уж она не потерпела бы не то что конкурентки, а и самого невинного увлечения вроде пейнтбола. В светской жизни она тоже преобладала, снималась даже в кино, не имея к тому ни малейших данных. И всех от нее тошнило — как тошнит, говорят, при сильном отравлении пропаном, но сблевать уже не успеваешь.

...Разумеется, как это всегда бывает с худыми и прыгучими, после тридцати она стала толстеть. Нефть растет, приговаривал он, похлопывая ее по или пощипывая за, — но влечение не ослабевало, напротив. Было что-то гибельное, а потому особенно привлекательное в том, чтобы погружаться в эту рыхлую, засасывающую плоть, в это сладостное болото, — он подсел на нее, как подсаживаются на иглу. И когда она стала весить около ста, а потом перевалила и за сто, это никак не сказывалось на силе его страсти; назвать это любовью было все-таки неправильно. Любил он Ни-

ну, и это было давно. Любить — значит не только хотеть, а еще немного и восхищаться, радоваться, что приобщаешься к чему-то безусловно хорошему. Нефть не была хорошей. Погружаясь в нее, он словно чувствовал зов предков. Мириады древних существ, гигантских папоротников и микроскопических насекомых, динозавров и термитов, бабочек и людей умерли для того, чтобы неопостижимым образом получилась нефть. Нефть есть смерть. Он, собственно, так и понял. Люди никуда не деваются, они превращаются в нефть, в ней все души — и Александра Великого, и Цезаря, и Шекспира, и Наполеона, и последней пиявки. Он уже не помнил, откуда это, хотя когда-то знал. Проблема в том, что это были мертвые души; что Нефть все понимала, но ничего не хотела. И это тоже возбуждало его. Все, все, что гибелью грозит...

Вот это он как раз помнил, и когда по телевизору — он иногда смотрел его в машине — стали показывать «Маленькие трагедии», он услышал песню Мэри и вдруг заплакал. Это были не самые лучшие стихи, и именно поэтому на них удалось написать лучшую на свете музыку: они не мешали. Он услышал это: «Было время, процветала в мире наша сторона» — и вдруг понял, что все умерли: и Пушкин, и Шнитке, и Швейцер, и тридцатилетняя Света Данилова, которая

играла Мэри и вдруг умерла в своей коммунальной комнате — нашли через три дня, диабетическая кома, и помочь было некому. Все умерли, все стало нефтью, ничего подобного больше не было вокруг; лютия и колокол отпели всех. И он неожиданно разрыдался на заднем сиденье. Шофер застыл как каменный, эта категория челяди была обучена ни на что не реагировать, а если бы он сказал человеческое слово, было бы, может, не так невыносимо. А потом оставь селенье, уходи куда-нибудь... Страшно, невыносимо было даже не то, что все умерли, а то, что сам он так ничего и не сделал. С какого-то момента все происходило само, ум не включался, работала так называемая чуйка — ненавистное слово, принятое в их кругу, — и он ни на шаг не приблизился к тому, чтобы написать совсем простое: «Посети мой бедный прах...». Да, все выживание, проклятое выживание! — странна была такая мысль для человека, входящего в двадцатку «Форбса», но он именно выживал, и все это была она, голос страшной архаики, мертвый хор, заморозивший его. Ночевал он в кабинете. Это был первый раз, когда он даже не подошел к ней. Ночью проснулся от страха, потянулся обнять привычные телеса — но с некоторым даже облегчением обхватил пустоту. И странно: это была не такая пустая пустота, как замораживающая бездна внутри жены.

С этого дня она стала что-то понимать и начала меняться. К ее услугам был весь фитнес, любые диетологи, спортзалы феерической оснащенности — и она стала худеть, но странное дело: ему не становилось легче. Известно, что толстый человек никогда не станет худым — он вечно останется похудевшим толстым: наглядней всего эту тенденцию воплощал самый востребованный ведущий, который со времен покоренья Крыма вовсе перестал, кажется, ночевать дома. Экстаз падения, наслаждение невыносимой гнусностью так и читались на его лице, вокруг которого, кажется, висела в воздухе аура утраченных щек и второго подбородка: он так же был окружен этой аурой, как Россия — былым имперским величием, и так же мечтал вернуться в прежний статус, но понимал — как и она, впрочем, — что сразу умрет. Да, Нефть худела, но худея, старела: обнаружились морщины, не помогали никакие подтяжки, голос стал предательски дрожать, исчезли кошачьи, ленивые интонации, появилась странная суетливость, почти заискивание — словно уже не он зависел от нее, а она от него; словно только своей страстью он ее и подкармливал. Однажды он почувствовал в постели ее ребра — и это вызвало уже только отвращение. Стало казаться, что скоро она будет не нужна никому.

И она понимала это. Однажды он застал ее топчущей маленькую пластмассовую модель «теслы», подаренную кем-то из нужных гостей в качестве сувенира: она топтала ее так, словно именно «тесле» и суждено вытеснить ее из вселенной. Напрасные страхи, кстати. Все эти разговоры о ненужности нефти... Из нефти много чего можно делать, и когда решится проблема с вечным аккумулятором — можно будет жрать ее, в конце концов. Он и теперь уже замечал легкий маслянистый привкус у местного сыра. Впрочем, возможно, это было пальмовое масло. Но серьезные люди знают: никакого пальмового масла не бывает — все оно делается из нефти.

Детей он не любил. Оба мальчика, родившихся с трехлетним интервалом — шутя он называл их Бензин и Мазут, — ничем не интересовались и так же, как она, жадно ели. Что может родиться от нефти?

Говорят, соскочить с иглы невозможно, — но он соскочил. После развода, оставившего ему не больше трети капиталов — и к лучшему, ибо пребывание в списке «Форбса» становилось опасным, а ему хватило бы еще не на одну новую жизнь, — он почувствовал такую свободу, какую знал только в конце девяностых, когда еще

не проваливался каждую ночь в болотистые зеленые глаза и не контактировал напрямую с мириадами мертвых. Он отправился в «Таблицу» — едва ли не единственное заведение, уцелевшее с тех пор. Словно Бог ее хранил или иная сила, не столь светлая, но столь же непонятная. Да и куда бы исчезнуть клубу с таким названием? В России, как мы знаем, представлена вся таблица Менделеева — и, может быть, именно потому таблица умножения не имеет в ней никакой силы.

Он подсел к стойке, заказал ничуть не изменившуюся текилу и стал ждать — чего именно, он и сам не понимал. С одной стороны, начиналась новая жизнь, и расставаться со свободой не хотелось; с другой — он смутно тревожился и не хотел избавляться от дорогих привычек. Все могло быть. Здесь перекресток, от которого можно пойти в любую сторону.

Из глубины зала к нему направлялась девушка, почти девочка, с металлическими светлыми волосами, какие носили во времена кратковременной московской моды на тяжелый металл.

— Привет, — сказала она, развязно усаживаясь рядом. — Я Никель.

Предметом нашего рассмотрения станут сегодня два почти одновременно написанных рассказа двух знаменитых, но редко сопоставляемых Василиев: «Дикой» Василия Аксенова (1965) и «Упорный» Василия Шукшина (1973). Что такое для истории, тем более недавней, 8 лет — особенно в том вязком времени, которое уже тогда называли застойным?

Шукшин (род. 25.07.1929) старше Аксенова ровно на три года (06.07.1932). Были ли они знакомы? Это кажется почти неизбежным: оба были знаменитыми и, думается, лучшими новеллистами своей эпохи; оба работали в кино (Аксенов даже снялся в экранизации собственного «На полпути к Луне», но альманах по трем его рассказам лег на полку); оба были влюбле-

ны в Беллу Ахмадулину, причем Шукшин, снявший ее в «Таком парне», даже и неплатонически, о чем язвительно сообщил тогдашний ахмадулинский муж Юрий Нагибин. Они вращались в одном, весьма тесном кругу московской литературной богемы, оба знали Высоцкого (Шукшин — шапочно, Аксенов — близко), оба периодически уходили в запой и одновременно наглухо завязали (Шукшин — в 1968-м, после рождения младшей дочери, Аксенов — в 1969-м, после нескольких тяжелых срывов), и между тем нет не только ни одной совместной фотографии — может, где-то есть? вот посмотреть бы! — но и ни одного мемуарного свидетельства об их контактах. При этом в критических статьях о русском рассказе их нередко перечисляли через запятую. Вот странность: что угодно можно себе представить в бурные шестидесятые и пьяные семидесятые, но совместно пьющих Аксенова и Шукшина — никак. В аксеновском алкоголизме многое было от праздника, карнавала, в шукшинском — от трагедии, он пил с надрывом и уж кем-кем, а компанейским человеком не был. Взаимных отзывов — во всяком случае, публичных — не сохранилось; непубличные слышал общавшийся с обоими Евгений Попов. В интервью на шукшинском фестивале он рассказывал:

«У меня два учителя — Аксенов и Шукшин, два Василия. Причем я с Аксеновым беседовал много о Шукшине.

— А что Аксенов говорил о Шукшине?

— Что он замечательный писатель, но темный человек. Темный. Я ему доказывал, что это не так. Посмотри, говорил, у тебя в рассказе «На полпути к Луне» Кирпиченко — совершеннейший шукшинский чудик. Я думаю, что Аксенова в какой-то степени убедил, я ему говорил: «У вас даже биографии одинаковые. У тебя родители сидели оба, а у Шукшина отца расстреляли. А то, что темный он, — что же он, темный, такие фильмы снимал?»

(Два учителя — Аксенов и Шукшин — высказывание обязывающее, и легко было бы состричь на тему «у семи нянек...», но, боюсь, речь тут о более глубокой драме: Шукшин и Аксенов — две России — не очень-то совместимы в одной системе ценностей. Но это я уже начинаю анонсировать выводы, к которым читатель должен прийти самостоятельно. Под «темнотой» Аксенов разумел, конечно, не малообразованность, а шукшинскую глубокую недоброжелательность, даже и озлобленность, о которой сам Попов говорит выше.)

В книге об Аксенове, состоящей из диалогов двух его младших друзей — Попова и Кабакова, — есть единственное известное мне внятное сопоставление великих тезок:

«Е.П.: Вот Аксенов — это драма, а Шукшин — все-таки трагедия. «Жена мужа в Париж провожала» — трагедия, а «На полпути к Луне» — драма. И вообще — у Шукшина в рассказах такое творится, если хорошенько приглядеться! <...> Ты представляешь, как бы Шукшин написал рассказ по аксеновскому сюжету? Ну вот, например (из «Ожога»), как два мужика спьяну покупают у буфетчицы бутылку дорогущего коньяка «Камю», буфетчица очень довольна, что наконец какие-то дураки взяли бутылку, которую она год никому не могла втюхать. Тем не менее она тут же звонит куда надо и стучит на подозрительных проходимцев с деньгами. Ведь это вполне мог бы быть рассказ, написанный Шукшиным.

А.К.: Шукшин — реалист, а Аксенов — романтик. И я тебе знаю что скажу? То, что пытался излагать деликатно, ляпну попроще и поглубже. У образованных, которые с одними бумажками работают, кругом вообще все прекрасно. А простой человек, который вкалывает на земле или

на заводе, — у него более трезвый, более холодный, более реальный взгляд на жизнь. Так всегда было».

В этом замечании Кабакова уже есть все предпосылки для верного понимания таинственного диалога, который случился между Аксеновым и Шукшиным в их рассказах о гениальном сельском самородке и вечном двигателе. Допустить, что Шукшин не читал «Дикого» и ответил на него бессознательно, очень трудно: рассказ, как вся тогдашняя аксеновская новеллистика, появился в «Юности» и был даже торжественно включен в юбилейный сборник к ее десятилетию (после чего долго не перепечатывался — напечатать такое даже год спустя было уже непросто). Если же это совпадение непреднамеренное, «тогда, друг мой, еще чудесней», по-кушнеровски говоря; но тогдашние кумиры следили друг за другом внимательно и ревниво.

Фабулы сходны — сельский самородок изобретает вечный двигатель, — но оркестровка резко индивидуальна: у Аксенова Дикой появляется в последней трети рассказа, а первые две повествуют о возвращении в родные места — чисто посмотреть, после сорока лет разлуки, — персонального пенсионера, проживающего ныне

в Новых Черемушках, свежестроенном и комфортном московском районе. В рассказчике по имени Павел опознается отец Аксенова: бурная революционная молодость (с непременными теплушками, вшами, влюбленностью в красавицу-комиссаршу, интеллигентную дочку директора гимназии), крупная должность и личный «форд», ожидаемый и все равно внезапный арест, лагерь, ссылка, полная реабилитация, беспокойная — ибо неравнодушная — старость под опекой дочери и зятя (в зяте вроде как угадывается Василий Павлович, много разъезжающий по границам и, на взгляд старика, чересчур насмешливый; в рассказе они с женой фигуристы). Старик осматривает ничуть не изменившиеся родные места, встречается с товарищами детских игр (которые знают о нем только то, что он сел, — здесь точно угадано крестьянское внимание к главному и самому травматичному, а возможно, и оттенок легкого злорадства: высоко залетел — больней падать, как говорила рассказчику еще его мамаша, отказавшаяся сесть в «форд» при посещении сына в середине тридцатых). Вся эта неизменная сельская жизнь, в которой, однако, старик въедливо подмечает различные неустройства — низкую и нерациональную оплату труда, скудость на грани нищеты, описывается с обычным аксеновским умилением, без злости; даже в «Острове

Крым», в знаменитой сцене с кликушей в автобусе ужаса и умиления поровну. Но ближе к финалу старик Павел, успевший с ветеранской своей партактивностью во все вмешаться и сменивший городскую шляпу на сельский картуз, встречает вдруг Дикого — теперь тоже старика, а когда-то сельского мальчишку Адрияна Тимохина, который все что-то ладил у себя в сарае из ремней, дощечек и колес, а злые сверстники напали на него и все изобретение разорили. Дикой так и прожил всю жизнь в колхозе в одиночестве и бедности. (Тут просматривается еще один диалог с современником: убогая, неприглядная, даже и зловонная изба Дикого напоминает жилище Матрены из солженицынского «Двора»; сам Дикой такой же болезненный, одинокий и нищий, как она; полемика вполне сознательная — у Солженицына рассказчик радостно отмечает, что в избе нет радио, а у Дикого оно как раз есть и наполняет убогую избу звуками огромного мира.) Глядя на Дикого, его скудное жилище и одинокую жизнь, рассказчик несколько раз радостно замечает, что свою-то биографию, даже и столь бурную, он все равно не променял бы на это тихое сиденье в рязанской избе, — но тут Дикой ведет его в сарай, а в сарае, представьте себе, «я увидел ту хитрую машину, которую когда-то мы разломали в баньке. Конструкция была все та же

в принципе, но только более сложная, более величественная. Машина была в движении, вращались колеса, большие и малые, бесшумно двигались спицы-рычаги, тихо скользили по блокам ременные передачи, и только слабо пощелкивала маленькая дощечка».

— Зачем это? — спрашивает Павел.

— Просто, Павлуша, для движения, — отвечает Дикой, и глаза его «страшно сверкнули».

— Давно ты ее пустил?

— Очень давно.

— Что же это? Вечный двигатель? — спрашивает Павлуша, холодея.

— Кажись, да, — шепчет Дикой.

При всех штампах — неизбежных и, вероятно, намеренных, как бы убаюкивающих сознание цензора и чересчур пронизательного читателя, — мысль аксеновского рассказа глубока и неочевидна. Пока на поверхности бурлят страсти, русская жизнь движется благодаря вечному двигателю крестьянского быта и — глубже — благо-

даря святости отдельных «тихих людей», праведников, как у Солженицына, или фанатичных изобретателей, как у Аксенова. Проблема в том, что эта вечность — которую они обеспечивают своим подвижничеством — грязна и малопривлекательна, и Павел вздрагивает от ужаса, представив, что мог бы прожить такую жизнь, никуда из своего Боровского не уйдя. Это вечность да, — но на хрена, собственно, такая вечность? «Постоянство веселья и грязи», да и веселье, прямо сказать, проблематичное. Сельская жизнь у Аксенова почти так же идилична, как в напечатанной три года спустя «Бочкотаре», — но «Бочкотара» уже чистое издевательство. С Боровским ничего не сделается, и не сделаешь с ним ничего, ни утопия, ни антиутопия тут не сбудется — но умиляться этому, если честно, хорошо вчуже.

В рассказе Шукшина, прямо он отвечает Аксенову или нет, русский вечный двигатель оставался; точнее, он и не двигался.

Изобретатели похожи даже внешне. Дикой выглядит непривлекательно: «Лик его был бугрист и неотчетлив, выделялись крупный нос и густейшие полуседые брови, из-под которых лишь изредка поблескивала капельная голубизна. <...> Был он мало опрятен, кое-где серая его туалетно-рубановая рубашка была порвана, а кое-где

защита грубыми стежками, а в уголках его рта запеклась слюна. Словом, не ахти какой приятный человек сидел передо мной». Моня Квасов значительно младше, ему 27, он тоже одинок (живет с бабушкой), неухожен и бугрист: «Моня был белобрыс, скуласт, с глубокими маленькими глазами. Большая нижняя челюсть его сильно выдалась вперед, отчего даже и вид у Мони был крайне заносчивый и упрямый». Правда, новый праведник уже не может быть тихим святым — он обязан быть фанатиком: если Моне втемяшится какая мысль — «колом ее оттудова не выбьешь», как об этой черте своих мужиков за сто лет до Шукшина писал Некрасов. Впрочем, поскольку во всех шукшинских чудиках есть авторские черты, Шукшин спешит своего «Упорного» оправдать: «Вся-то строптивость Мони, все упрямство его — чтоб люди не успели сделать больно, пока будешь корячиться перед ними со своей доверчивостью и согласием». С таким недоверием окружающих сам Шукшин, тоже самородок, сталкивался слишком часто: помните, кого не хотел Ромм брать на свой первый курс 1954 года? Двух знаменитейших выпускников — Тарковского и Шукшина. Про первого сказал: «Этого учить нечему — знает все». А про второго — «Не знает ничего».

Моня свой двигатель начал делать потому, что прочел книжку о принципиальной невозможности вечного движения. Он стал по ночам задумываться о вечном двигателе на основе колеса — ему сразу представилось именно колесо, и цикличность, замкнутый круг русской жизни тут пойманы безупречно. Наконец он выдумывает конструкцию колеса, которое бы само себя вертело, и хочет ею с кем-либо поделиться; в рассказе действуют три образованных эксперта: инженер, его жена-учительница и учитель физики. Диалог Мони с инженером несколько напоминает разговор Глеба Капустина с заезжим математиком, бывшим односельчанином, о шаманизме:

«— Как сейчас насчет этого думают?

— Да кто думает-то? — стал раздражаться инженер.

— Ученый мир... Вообще. Что, сняли, что ли, эту проблему?»

Инженер резко осаживает Моню, говоря, что тот зря проучился девять лет (в школе и техникуме), а потом уезжает на мотоцикле. Не найдя понимания у первого слушателя, Моня идет к следующему — раз инженер уехал, пусть чертеж рассмотрит его хорошенькая жена, математик.

тик. Жена тоже уверена: «Не будет колесо вращаться». Но именно она задает главный вопрос:

— А вам нужно, чтобы оно вращалось?

Вопрос этот на первый взгляд то ли наивный, то ли издевательский (хотя она как раз трогательно серьезна). Тут мы и догадываемся, что речь не столько о вечном двигателе, сколько о мироустройстве, о Монином мироздании, которое почему-то не хочет крутиться — а ему надо, чтоб крутилось. Моня не хочет, чтобы умирала его бабка, вечно ведущая разговоры о смерти (хотя она на самом деле крепкая, жилистая, даже веселая старуха); хочет, чтобы стояла изба, давно обветшавшая; вообще хочет, чтобы его сельский мир крутился — а между тем его явно слишком многие приговорили, и злость на этих людей становится вечным двигателем его собственной жизни. Почему надо похоронить проблему? (С той же злостью герой другого семидесятнического текста — самодеятельный мыслитель Сапожников из романа Михаила Анчарова «Самшитовый лес» — набрасывался на теорему Ферма.) Почему никто не верит в то, что эта жизнь, окружающая Моню, кому-то нужна? Вам нужно, чтобы она вращалась?

Потом доброжелательный учитель, из поволжских немцев, объясняет самородку, что ко-

лесо у него покрутится да и встанет — из-за силы трения. Моня не верит, сооружает свой двигатель (разобрав для этого велосипед) — и убеждается, что ничего не крутится. Он уже и руками раскручивает свой маховик — а все без толку. Здесь у Шукшина вечный его инвариантный сюжет — человека, полного радости от собственных, пусть и ничтожных, открытий и свершений, тормозит все то же трение: злость и душевная глухота окружающих («Шире шаг, маэстро!»), бюрократия и тупость начальства («Мастер»), пошлость («Сураз»). В рассказах Шукшина вечно кто-то кого-то «срезает», самородку не желают верить, самодеятельный художник подвергается разносу профессионала («Пьедестал»), и даже мещанина-дурака с его единственным в жизни романтическим порывом («Чередниченко и цирк») ужасно жалко. Видимо, это трение — его личная, слишком давняя боль (в кинематографе он чаще сталкивался с цензурой, чем в литературе, и высокомерие коллег — реальное или кажущееся — его тоже изводило). В конце концов вся подлинная Россия истерлась, истратилась в этом противодействии; вечный двигатель останавливается.

Правда, к рассказу — трудно понять, для самообмана или для отвода потенциальных кри-

тических упреков в чрезмерном пессимизме, — приделан такой оптимистический как бы хвост: вечный двигатель Квасова не состоялся, но вокруг-то продолжается вечное движение! «От реки не исходил покой, она чуть шумела, плескалась в камнях, вздыхала в темноте у того берега... Всю ночь чего-то беспокоилась, бормотала сама с собой — и текла, текла. На середине, на быстрине, поблескивала ее текучая спина, а здесь, у берега, она все шевелила какие-то камешки, шарилась в кустах, иногда сердито шипела, а иногда вроде смеялась тихо — шепотом». Река течет, солнце встает, жизнь, тек-скетъ, продолжается, и Моня начинает даже строить планы: «Надо жениться на какой-нибудь, думал Моня, нарожать детей — трех примерно и смотреть, как они развиваются. И обрести покой, ходить вот так вот — медленно, тяжело и смотреть на все спокойно, снисходительно, чуть насмешливо». Но ведь если герой обретет покой, встроившись в это вечное течение жизни, разве это не будет остановкой, гибелью, сдачей на милость тому самому трению? И разве вечный двигатель солнца, которому он умиляется в конце, заменит ему ту идею, над которой так добродушно посмеялся учитель? Это ранний Шукшин, времен «Любавиных», еще утешился бы этим круговращением жизни; а позднему — резкому, исхудавше-

му, постоянно раздраженному, озлобленному на всех, кроме ближайшего круга, — такой финал не мог не показаться компромиссом: «Солнце всходит и заходит, всходит и заходит — недостижимое, неистощимое, вечное. А тут себе шуруют: кричат, спешат, трудятся, поливают капусту... Радости подсчитывают, удачи. Хэх!.. люди, милые люди... Здравствуйте!» Это подлинный голос упряма Квасова? «Радости подсчитывают, удачи»... Что тут хорошего?

Двигатель русской жизни остановился. И то вечное движение — неосмысленное, машинальное, — которым окружена эта роковая неподвижность, лишь подчеркивает ее. Природа движется, а человек в ней застыл; и эта природная вечность — не утешение, а живой укор. Поистине романтик Аксенов верил в то, что русские колеса не остановились, шуршат приводные ремни, щелкает дощечка, отсчитывая годы; реалист Шукшин видел, что все ушло в трение, и единственное, что удалось Моне Квасову, — сломать велосипед. Это лучше, конечно, чем изобретать его, но тоже, если вдуматься, не шибко радостно.

Любопытно, что оба названия — прилагательные (хорошо, субстантивированные) и оба не слишком комплиментарны. Один — Дикой,

нелюдимый, одинокий, безумный; другой — не «упрямый», а именно «упорный», что ассоциативно включает в себя и «упертый», и «упоротый». Но у Аксенова эта дикость спасительна — ибо сохраниться и реализоваться может только тот, кто не дает себя «сдвинуть»; упорство Мони Квасова не сулит ему ничего хорошего — жизнь, по Шукшину, всегда таких обламывает. Женится, успокоится, станет обычным тяжелым человеком без порыва, с насмешливым взглядом. И никакого уже тебе двигателя.

Чтобы уж закончить с этим сюжетом: я не помнил рассказа Аксенова и не думал о новелле Шукшина, когда в «Сигналах» описывал завод, который сам себя производит. Там все огромные цеха собирают огромное и таинственное «Изделие № 16», которого никто никогда не видел; во главе завода — бессменный и бессмертный директор, мастодонт еще советских времен. Само же изделие 16 выглядит так: «Перед Тихоновым стояла — но это не то слово, потому что непрерывно шевелилась, — бесконечная стена, которая жужжала, тикала и свистела ремнями; это была пятидесятиметровая в длину и шестиметровая в высоту плоскость, состоявшая, если взглядеться, из бесчисленных разноразмерных шестеренок, зубчатых колес, трансмиссий, пружин, ре-

мешков, находившихся в непостижимо сложных связях. Все они крутились с разной скоростью, некоторые — беззвучно, другие — с щелканьем и тиканьем, часть издавала музыкальный звон. Здесь, видимо, никогда не выключался синеватый свет, и в этом свете блестело идеально чистое, превосходно смазанное железо: эти блестящие шестеренки казались столь же неисчислимыми, как звезды на небе, и само звездное небо долго потом представлялось Тихонову набором таких же тесно связанных, непрерывно трущихся колес, чей слабый отблеск едва долетает до нас. Если мир был как-нибудь устроен, он был устроен так.

Проследить хоть иллюзию порядка в этом раз и навсегда запущенном механизме не мог, вероятно, и сам его создатель. Лучшей метафорой сложности и разнообразия не могла стать никакая электроника. Электроники тут и не было — все крутилось на честном машинном масле, стиралось, заменялось, ни на секунду при этом не останавливаясь; все эти разнонаправленные вращения задавал один крошечный, наверняка невидимый валик — и все металлическое мироздание начинало передавать его импульс, уменьшавшийся в бесконечном трении, но никогда не исчезающий до конца. Тихонов минут десять сто-

ял, любуясь, то приближаясь на шаг, то отступая, ничего не понимая и не пытаясь понять. Ради этого стоило содержать завод, город, планету — которая, очень может быть, только благодаря этому еще и вертелась. Сверкали железные звезды, пели железные птицы, все было беспричинно и взаимосвязано, не имело ни начала, ни конца, ни смысла, но страшно напряжено и бесконечно разнообразно».

То есть вечный двигатель есть и движется, но наша жизнь не имеет к нему отношения, и наш вклад в него нам непонятен. Как-то так.

«История, рассказанная ниже, правдива, к сожалению», как предварял одну поэму Бродский. «Все описанное — не выдумка. Выдумать можно было бы и посмешнее», как предупреждали Ильф и Петров. «Все основано на фактах и изложено в двух актах», как начинал Шток «Божественную комедию». Короче, этот рассказ — правда от первого до последнего слова, и я не знаю, как все это понимать. Заменял я только фамилию главного героя, какова бы она ни была на самом деле. Потому что в подлинности ее теперь я уже сомневаюсь. Пусть он будет Куник.

Короче, года три назад я представлял новую книжку в магазине «Молодая гвардия», что на Большой Полянке. Народу пришло порядочно, и к началу выступления на столе уже скопился де-

сяток записок. Я не успел их прочесть, поскольку разговор с самого начала вошел в нежелательное русло. Книжку почти никто еще не читал и потому ее не обсуждали. Спрашивали о вещах чисто внешних: зачем я преподаю в школе, каковы мне кажутся нынешние дети, не чувствую ли я давления цензуры и т.д. Чтобы окончательно уйти от действительно интересных тем, какой-то сидящий мужик начал меня расспрашивать о еврейском вопросе — типа насколько мне, еврею, комфортно в православии и почему я скептически отношусь к Израилю.

К разговорам на эти темы я привык, их периодически заводят неумные и агрессивные люди, живущие почему-то не в Израиле, а либо в России, где их все не устраивает, либо в Штатах, где устраивает. С израильтянами я бы еще мог полемизировать — они сделали выбор и платят за него, хотя многие мои приятели, уехавшие туда, изрядно поглупели на почве национализма. На почве всегда глупеют, беспочвенность куда перспективнее. Но когда люди, которые сами там не живут, начинают предъявлять мне претензии — типа когда же уже вас наконец начнут здесь бить? — я теряю всякое желание спорить, потому что предмета для спора тут нет. Я бы и теперь закрутил эту дискуссию, но в мужике что-то бы-

ло. Чувствовалось, что он спорит не ради наскока на меня. В нем ощущались глубинный неуют и давняя запущенность. Он был, как уже сказано, полусед, худ, невысок, длиннонос, на голове у него была порядочно вытертая шапка с козырьком из выдры, и сам он был вытертый, как эта выдра. На длинном носу, на кончике, была такая, что ли, пипка или кнопка, темно-красная, вроде бородавки. В его вопросах была сложная смесь изумления и недоверия: он как будто искренне пытался меня понять, но я никак не влезал в его систему координат.

— То есть вы действительно хотите сказать, что вам так лучше? — спрашивал он.

Я терпеть не могу вопросов, начинающихся с «то есть», потому что в них собеседник пытается переформулировать мою мысль так, как удобнее ему, с огрублениями, упрощениями или собственными аберрациями.

— Я хочу сказать, что не хочу менять культуру на кровь и почву, — повторял я, — и вообще не люблю имманентные признаки. Я — то, что я из себя сделал, понимаете? А не то, с чем я родился.

— То есть вам удобнее в антисемитской среде?

— Это не антисемитская среда! — разозлился я. — Я не менял веру. Я выбрал то лучшее, что, по-моему, есть в истории человеческой мысли. Я живу и работаю в русской культуре, а мимикрировать мне с моей внешностью бессмысленно. И с антисемитизмом я гораздо чаще сталкиваюсь не в русской, а в еврейской среде, вроде вот вашей.

— Я не хочу вас задеть, — сказал он как-то даже испуганно. — Я просто пытаюсь понять.

— Но чего тут непонятного? Давайте, может, о литературе все-таки поговорим?

У него был вид человека, — такие встречаются, — которые много и самостоятельно размышляют о собственном еврействе, о тех, как говорится, вызовах, с которыми сталкиваются, и о том, к чему оно их обязывает. Такой доморощенный философ, много читающий, явно бедный, почти нищий, ушедший, должно быть, с работы, чтобы читать и размышлять. На вид ему было лет пятьдесят, но это были грустные, трудно прожитые пятьдесят лет, и сквозила в нем —

лучше Пастернака не скажешь — «мертвящая необходимость добровольного мученичества». Он хотел быть евреем, соответствовать этому, понимать это, он видел в этом что-то особенное, вроде миссии, не понимая, до какой степени эта миссия упразднена. Но именно этого понимания Пастернаку до сих пор и не могут простить. Он не держал на меня никакого зла, но, кажется, искренне хотел понять, что я приобретаю, отказываясь от преимуществ этой идентичности и охотно принимая на себя все ее минусы. Ведь быть евреем, то есть чужаком, имеет смысл, если ты хотя бы чувствуешь «наследие царей и патриархов», как говорил другой затравленный автор. А если ты получаешь одни гонения без всякого мессианства, в чем твой расчет? Объяснить ему это я не мог, да и публика начала роптать: ей неинтересно было про еврейство, им хотелось понять, действительно ли при правильном чтении представляемой книги можно было разбогатеть. И я сказал этому облезлому пророку, что мы с ним договорим как-нибудь потом, а сейчас позвольте мне вернуться к роману «Квартал».

И он еще немного послушал все это мероприятие, а потом ушел, оставив мне ощущение смутной тревоги и, главное, непобедимое чувство,

что я его знал, где-то видел, особенно эту пипку на носу и раннюю седину. Тогда он не был такой облезлый. Напротив, он был скорее веселый. Эта перемена и не давала мне вспомнить его как следует: раньше, кажется, я наблюдал его гораздо более счастливым, а теперь в нем жило неблагополучие и даже, пожалуй, безумие. И я понял, кого он мне напоминал. У Гарина-Михайловского был довольно страшный рассказ «Гений» — про старого еврея, которого все в городе считали сумасшедшим. Между тем он самостоятельно открыл дифференциальное исчисление, понятия не имея о Ньютоне и Лейбнице. Он был гений, этот еврей, просто не знал, что его открытие уже сделано двести лет назад. Так и он: сидел, вероятно, в камерке и открывал для себя какую-то азбуку, но личные его усилия и открытия, объективно никакой цены не имеющие, давались ему, вероятно, со сладкой мукой и в любом случае заслуживали уважения. Наверное, надо было с ним еще поговорить, но он ушел, и я не мог теперь вспомнить, откуда его знал. Но среди тех записок, которые меня ждали на столе, была одна — «Привет из в/ч 71245», — благодаря которой я все вспомнил.

Ну естественно, в/ч. Это был Куник.

Куник был старше меня по призыву на год, но, поскольку призыв был московский, эти наши деды ко мне, тоже москвичу, благоволили, приглашали то в котельную расписать пулю, то в художку попить чаю с привезенным с выезда тортиком. В большинстве своем они были студенты, как раз с 1984 года их тоже начали грести. Я был ДМБ-89, как раз после моего дембеля студентов трогать перестали. Собирались мы чаще всего в художке у Ежа, как звали ефрейтора Ежова. Куника все, как ни странно, любили, хотя он был единственный человек в части — да думаю, и во всем тогдашнем ЛенВО, — у которого в военном билете было записано «еврей». И он очень этим гордился. Когда его спрашивали, как же это он не сумел откосить — ни от еврейства, ни от армии, — он гордо, хотя без всякого вызова, отвечал по еврейскому обыкновению вопросом на вопрос: «Зачем мне отказываться от такой полезной вещи?» Куником гордились: в части был свой еврей, хотя известно, как ловко евреи избегают армии. А он не избежал, и хотя застал я его уже дедом, когда он по большей части бездельничал, никаких претензий по службе к нему не было. Он был в караульном взводе. Чистые лычки — чистая совесть, как говорится. Ходил в караул, делился посылками, периодически скрывался в самоходы, крупных залетов не имел. На вопросы

о еврействе отвечал охотно и доброжелательно. В частности, он много мне рассказывал о каббале — тогда еще не входившей в моду и толком никому не известной. Он же посоветовал непременно прочитать «Голема» — лучшую, как ему представлялось, книгу о еврейской мистике.

— Майринк вообще понимал, — говорил он загадочно, глядя вдаль и не уточняя, в чем понимал Майринк. — Остальное тоже ничего, но «Голем»...

— А там про что, собственно? — Майринка тогда еще толком не переиздавали, и он был труднодоступен. Надо было искать издания двадцатых годов.

И он начал было мне рассказывать, но махнул рукой. «Сам прочтешь».

— Но смысл-то в чем? — не отставал я. — Идея?

И он ответил мне очень странно — настолько странно, что этот ответ я забыл. Мне показалось, что я его неправильно понял, мало ли. А вспомнил я этот ответ только три года спустя, при вовсе уж странных обстоятельствах. Пока же

я стал искать Куника, чтобы срочно перед ним извиниться: однополчанин через 27 лет после дембеля пришел встретиться, а я не узнал! Еще и оборвал его довольно грубо. Надо посидеть, всех вспомнить: интересно же, кто где. И как это странно у него все сложилось, неужели он так и остался слегка подвинутым на своем еврействе? И откуда это неблагополучие, такое отчетливое, как резкий запах? В общем, я нашел его страницу в «Одноклассниках». Там как раз была армейская фотография, старая, когда они всем призывом снялись перед стодневкой. И еще одна, чуть позже, где особенно хорошо видна была пипка на носу. На этой фотографии он был толще и благополучнее, чем теперь. Видимо, чем больше он сдвигался на национальном вопросе и соответствующей мистике, тем больше худел, облезал и выпадал из социума. Я таких самодельных философов, одиноких безумцев, всегда чту, на чем бы они ни съехали. Я ему написал на странице — дескать, прости, Куник, обознался. Приходи хоть в редакцию, хоть куда тебе удобно, посидим, бухнем, все такое. Но он не ответил и вообще, кажется, давно не заходил в «Одноклассники».

А три года спустя я с Мишей Ефремовым поехал выступать в Филадельфию, и после концер-

та к нам за сцену пришел маленький, кругленький, сильно полысевший человек, в котором я никак уж не мог обнаружить ничего знакомого.

— Не узнаешь, Бычара? — спросил он. Бычарой меня иногда называли в армии, но не только в армии. (Вообще же моя армейская кличка была Писатель, потому что моими консультациями часто пользовались, когда надо было написать девушке письмо в рифму.)

— Нет, простите, никак.

— Ну и зря, — сказал он. — Я Юра Куник.

И достал ту самую армейскую фотку, на которой запечатлен был их призыв: Хет, Еж, Силантьев, Лукьянов, Волков, Гайсин, Малахов, от которого я перенял прелестное обращение «скулсов сын», Карпов, ныне известный китаист, Макеев, имевший кличку Татарин (и кажется, действительно татарин, маленький, круглый), и еще человек пятнадцать, которых я, как выяснилось, отлично помнил, просто двадцать семь лет не вспоминал.

— Здорово, Куник, — сказал я и внимательно посмотрел на кончик его носа. Есть чуткие

люди, ощущающие не только направление, а как бы давление чужого взгляда. Я такое замечал, например, у Ходорковского: он стоит к тебе спиной, ты смотришь на его руку — и он внезапно ее почесывает, ощутив некий дискомфорт, но не понимая его причины. Куник немедленно потрогал свою нашлапку.

— Особая примета, — сказал он.

— Мне кажется, — произнес я по возможности спокойно, — что я тебя видел года три назад.

— Здесь? — спросил он.

— Нет, в Москве. В книжном магазине.

— Исключено, — сказал он уверенно. — Я приезжал один раз, десять лет назад. В школу на двадцатилетие выпуска.

Он был полноват, лысоват, лучился благополучием. В нем ничего не было от высокого казалистического безумия, которым так резко пахло от предыдущего, настоящего Куника.

— А уехал давно?

— Да почти сразу. Я как дембельнулся, так сразу сообразил, что там ловить уже нечего. Уже везде мафия была. Я и уехал.

— А здесь чего делаешь?

— Девелопер, — сказал он с той же спокойной гордостью, но без вызова, с которой раньше говорил, что он еврей и зачем же отказываться от такой полезной вещи. — Детей двое. — И он показал фотографию в айфоне. Раньше за такими фотографиями лазили в бумажник. Там красивая толстая девушка сидела на диване рядом с чернявым тощим мальчиком, отдаленно напоминавшим Куника караульных времен.

— Бенджамин и Мэрион, — пояснил он. — Я уже тут женился. Жена, кстати, из Питера.

Некоторое время мы поспрашивали друг друга, где кто — между прочим, почти весь их призыв разъехался, кто в Штаты, кто в Европу, а один даже в Китай, — но эта тема меня, в общем, интересовала мало. Я все пытался понять, на каком я свете. Дурачит меня? Но зачем, в чем его корысть? Брат-близнец? Но близнецы служат вместе, и не было у него никакого брата. И даже если это все-таки был он тогда, в магазине, — за

три года нельзя было так растолстеть, так облысеть и обрасти такой аурой прочного благополучия. Действительно девелопер. Дочери восемнадцать лет. Живет тут с девяностого. Каббалой если и увлекается, то в рамках каких-нибудь кружков по интересам, в Штатах у каждого есть такое хобби. За российской ситуацией следит вполглаза, меня изредка почитывает, но всерьез не принимает.

— Ты чего вообще там сидишь? — спросил он. — Из-за языка, что ли?

— Да знаю я язык, — обиделся я. — Преподаю-то я здесь по-английски.

— Но ты же писатель. Там же читатель.

— Читатель весь теперь здесь, — сказал я честно, потому что моя нынешняя российская аудитория действительно иногда не понимает, в каких местах смеяться, зато в Филадельфии все в порядке. Да и перестал я уже шутить с прежним азартом, потому что страх и оглядчивость вползают в тебя незаметно, и постепенно ты теряешь все больше умений, ограничиваешь себя на каждом шагу и сам уже не сознаешь, насколько ужался.

— Так переезжай.

— Поздно. И потом, я думаю, там скоро опять будет интересно.

— Там уже никогда ничего не будет, — спокойно сказал Куник, словно речь шла о деле давно решенном и вдобавок второстепенном. — Там — все.

— И когда ты это понял?

— А вот как понял, так и уехал. Хотя, если хочешь знать, там уже в семнадцатом году было все.

И мне стало неловко, словно я добровольно остаюсь там с единственной целью: что-то из себя представлять только на этом деградирующем фоне. Словно я могу обратить на себя внимание только там, где уже действительно все. А он девелопер, у него два дома, дочка в Дартмуте и сын собирается в Гарвард. Но он, конечно, мне этого всего не говорил и даже не давал понять. Это я все себе придумывал, продолжая естественный ход его мысли. Я уже привык в России смотреть на себя нелюбящими глазами.

Он повез нас обедать, угощать бараньими ребрами с кускусом, которые удивительно готовили в каком-то восточном ресторане в двадцати минутах езды — далеко, но ребра того стоили. И все время, пока он добродушно посмеивался, расспрашивал меня про детей, рассказывал про своих, подливал Мише, жалел, что я не пью, я пытался понять: как это? Ну как это? Не мог же он раздвоиться?!

А почему, собственно, не мог?

Ведь это так естественно — оказаться на развилке и провести контрольный эксперимент. Один остается в России, потому что там далеко еще не все, она еще не сказала последнего слова, бывают великие исторические развороты даже на пути в бездну. И тогда, в девяностом, когда еще Горбачев и есть великий исторический шанс, он остается, а другой едет сюда — попробовать другой вариант судьбы. Могло же повезти?! Не все же стали торговать компьютерами или машинами, не всех же убили, не над всеми же поставили черные роскошные надгробья, как сочинила Лерка Жарова: «Бейсбольная бита, бейсбольная бита! Никто не забыт и ничто не забыто...» Могло и России повезти, шанс был, он

даже сейчас есть, хотя и кажется все чаще, что Бог давно не смотрит в эту сторону, потому что ему примерно с тридцатых годов неинтересно. Никто не знал, что Куник тут так процветет, женится на девушке из Ленинграда, потому что еще во время ленинградских самоходов — как и я, грешный, — полюбил эту особую ленинградскую школу взгляда на жизнь, ленинградское неповторимое постельное поведение. Говорил же Леша Дидуров: никто не дает так иронически, как ленинградки... Но и ни в ком больше нет такого дружелюбия, такой солидарности — типа ситуация, конечно, неловкая, но постараемся вместе из нее выйти с юмором и тактом. Была и у меня там подруга дней суровых, ослепительная девушка, надо сказать, даже без поправки на постоянное солдатское вожделение. Славянка же — дачная местность. И я с ней там познакомился. И если бы на ней женился, совершенно другая была бы у меня жизнь — может быть, куда более строгая и одухотворенная, куда более ленинградская. Я как раз тогда мучительно выбирал и выбрал все-таки Москву, где семья и где все прошлое, и выдумал даже сюжет — про героя, мечущегося между женой и любовницей. Он нашел возможность раздвоиться, но в процессе выяснения, кто к кому пойдет ночевать, один убил другого и оказался перед прежним выбором.

— А «Голема»-то я прочел, — сказал я многозначительно.

— Да ладно, — не поверил он. — Ерунда, в общем. Я потом, знаешь, уже здесь прочел Перуца. Так гораздо лучше. Гораздо! Лучше даже Кафки.

— Перуц ничего, — согласился я. — Но «Голем» же... Как ты думаешь, действительно Майринк что-то такое знал?

— Да ничего он не знал, — отмахнулся Куник. — Наркоман он был. Они все тогда нюхали эфир, это было принято... Ты, кстати, травы не хочешь? Я свистну — привезут. Я люблю иногда, очень успокаивает.

— Нет, я траву не люблю, — сказал я, и это была чистая правда, хотя иногда, в юности, курить траву было довольно весело, особенно в хорошей компании. Именно под действием травы я, в частности, придумал хорошую поговорку — единственную свою удачу в этом жанре: «Мимо ж... не сядешь». Имеется в виду, что ты можешь не заботиться о сохранении своей identity — она и так всегда с тобой. Если вдуматься, это могло

быть девизом всей моей жизни и литературной деятельности.

Уже ночью, в гостинице, я вспомнил, что он мне тогда ответил.

— Понимаешь, — сказал он, — там про то, как можно сделать Голема. Ну, там его делают из глины, а можно просто из другого человека.

— Как это?

— Ну, это обычная довольно вещь. Каждый же умеет свое. Буддисты, допустим, левитируют. А каббала знает, как сделать двойника. Количество душ — оно ведь ограничено. У многих просто нет души. И ты ему подселяешь свою.

— Зачем?

— Иногда бывает надо, — сказал он просто. — Допустим, надо тебе сделать то, что можно осуществить только вдвоем. Например, распилить что-нибудь двуручной пилой.

Но тут позвали на построение, и мы не договорили. Впрочем, вряд ли он рассказал бы мне, как это делается.

А самое главное, вряд ли я стал бы это делать. Потому что, даже увидев своего идеально ровного двойника в Америке, я с ужасом убедился бы только в одном: он все равно не избавился от того, что носит в себе. Я родился с этой занозой, я умираю с ней. Мимо ж... не сядешь.

Сейчас все будет очень серьезно, я пишу этот текст 32 года — точнее, столько думаю над ним. В 1984 году я был членом Совета «Ровесников» — довольно таинственной организации, откуда выходили непростые люди: Миша Кожухов, Евгения Альбац, Елена Исаева, Владимир Вишневский, Антон Дрель, Андрей Шторх — красота, кто понимает. Это было что-то вроде описанной Сэлинджером передачи «Wise Child» — «Мудрое дитя», — в которой выступала вся семейка Глассов. В детской редакции радио, ныне упраздненной (в нашей комнате сидит теперь бухгалтерия телеканала «Культура», а я до сих пор помню тот вид из окна, и он для меня знак абсолютно го счастья), была программа «Ровесники» — для старшеклассников. Она отвечала на вопросы о смысле жизни, делала интервью с замечатель-

ными людьми и рассказывала о наших продвинутых сверстниках, чего-то в чем-то добившихся. Там много было советского наива, но передача была не самоцелью — как фильм Ильи Хржановского «Дау» давно уже никому не важен, а важен процесс его создания, строительство гигантского острова советской жизни в Харькове, вовлечение тысяч людей в интересную и с виду совершенно абсурдную деятельность. Вот у нас был Совет «Ровесников»: мы собирались по средам, обсуждали интересные книжки, фильмы или проблемы (после чего эти обсуждения ставились в эфир), и все сюжеты тоже делались руками школьников — им давали гигантский магнитофон-«репортер» с микрофоном-удочкой, и вперед. Там я заработал свои первые деньги, на которые купил себе прекрасный гэдээровский выпускной костюм песочного цвета: он налезал на меня до девяносто шестого года. Я очень хотел, чтобы сын в нем сходил на выпускной, но даже мои тогдашние размеры оказались ему широки.

И вот, значит, периодически нам давали пачки писем — отвечать слушателям. Письма в «Ровесники» приходили мешками. И поскольку я проработал в Совете несколько лет, в восьмидесят четвертом году вдруг обнаружилась динамика: раньше спрашивали про любовь, про как

признаться мальчику или когда можно целоваться с девочкой, про американские джинсы (почему плохо их иметь, если они хорошие? Зачем нам доказывают, что группа «Лед зеппелин» — плохо, а ансамбль «Поющие рельсы» — хорошо?), про всякую, короче, восьмидесятническую ерунду. И тут вдруг потоком пошли письма — довольно грамотные, вообще хорошо написанные — про невыносимое одиночество, про то, что единственная подруга — мама, про некоммуникабельность (неужели я навсегда так останусь?! один, одна?! никому не нужный?!), про страх перед коллективом и отъединенность от сверстников какой-то просто каменной стеной. Причем интересно, что я тогда уже прирабатывал и в «Собеседнике» — надо было делать публикации перед поступлением на журфак, — и там в порядке особой молодежной продвинутости опубликовали беседу с психологом (еще не сексологом, вы с ума сошли), и этому психологу понесли мешки писем про то же самое. Не могу с коллективом, нет взаимопонимания с ровесниками, не хочу и не могу выходить из своего мира — и совсем ничтожное количество самых интересных писем: может быть, так и надо? Может быть, мне и не нужно в коллектив и вообще коллектив не главное на свете?!

Я эти письма подробно изучил, на увлекательные ответил, даже завязалась у меня переписка с девочкой из Марий Эл, которой предстояло ехать из деревни в Йошкар-Олу, поступать в техникум, и она боялась, что в этом техникуме ее будут травить, потому что травят везде, она не умеет постоять за себя; письма девочки были на удивление сильные и грамотные — настоящая литература, я собирался к ней поехать, но в дальние командировки нас по причине младости не посылали. Видно было, что пишет человек книжный, беззащитный и действительно не умеющий, что называется, ставить себя: не из всякого же получается вождь толстокожих. Тогда, кстати, вышло после некоторого маринования на полке быковское «Чучело» про то же самое — про страшные детские травли, ставшие тогда приметой времени; я по наивности полагал, что причина этих травль с их зашкаливающим цинизмом — позднесоветская тройная мораль, привычка детей к насмешкам над всем святым, но потом мне стало ясно, что травят не слабейшего, а наоборот. Травят потенциального лидера, чтобы он им не стал. Тогда же Сергей Яшин выпустил в Центральном детском театре довольно-таки страшненький спектакль «Предсказание Эгля» — по пьесе Новеллы Матвеевой по «Алым парусам», в которой так травили Ас-

соль в Каперне, что половина зала плакала, а половина скрежетала зубами. Этот спектакль сняли очень быстро, попасть на него было в принципе невозможно, но Матвеева нас проводила на откидные места, поскольку выступала однажды в Совете и к нам благоволила. Раза три ходил я на этот спектакль и помню, как минут пять тряс в антракте руку Ивану Киуру, мужу Матвеевой, прекрасному поэту: «Иван Семенович, отомстила, отомстила за всех! За меня!»

И вот мне захотелось написать статью про эти письма, классифицировать их, что ли, отсеять обычное отроческое одиночество от этого нового синдрома, поговорить о поколении людей, для которых мнение коллектива не свято, а сам коллектив, страшно сказать, только вреден; они еще чувствуют некоторую неловкость от этого и считают себя такими же больными и неправильными, как, наверное, первая прямоходящая обезьяна или первый летающий ящер (должен же кто-то был начинать, просьба к эволюционистам не набрасываться). Вот Олеша, скажем, очень страдал от неспособности писать романы — и не надо было, потому что время романов кончилось, пришло время фрагментарного, дискретного письма, он открыл новый жанр и всю жизнь считал, что это распад, а не прорыв! Напи-

сал я эту статью и понес ее показывать Лилиане Сигизмундовне Комаровой, создательнице «Ровесников» и постоянному ведущему наших сред; она для нас тогда значила колоссально много, почти как родитель, и значит до сих пор. Ей на будущий год девяносто, а ровесники всех поколений пишут ей со всех концов света и дарят духи, как когда-то. Комаровская голова, наверное, самая ясная до сих пор: все мои радиийные проекты придумала и курировала она, и не было случая, чтобы не сбылись ее политические предсказания. Внук ее увлекается рэпом, и она часто подсказывает ему рифмы. Но это к слову.

В статье этой — называлась она как раз «Синдром» — я доказывал, что проблемы нет, что просто родился новый тип людей, а новые всегда чувствуют себя лишними, как Печорин, и что их одиночество совершенно нормально — радоваться надо, а не страдать! Вы лучше, а не хуже, и надо просто привыкнуть, что это трудно. Мышцы болят — значит, растут. И заканчивалось это словами из моего тогда уже любимого писателя Житинского, из повести его «Арсик»: «Пускай их будет больше. Пускай их станет много».

Но Комарова мне отсоветовала это печатать и даже распекла, как она умеет (с нами в «Ровес-

никах» работали без скидок — Игорь Дубровицкий, вождь редакции, вообще, кажется, не чувствовал особой разницы в возрасте между собой и 15-летним корреспондентом). Она тогда сказала вещь полезную: если человек воспринимает это как проблему, бестактно ему объяснять, что он эволюционирует в правильном направлении. Если одиночество стало массовым или даже всеобщим — это трагедия, а не норма, потому что для человека нормально все-таки оглядываться на других. Общаться. Чувствовать опору, а не страх и зыбкую неуверенность. Никто не призывает равняться на коллектив, но индивидуализм ничем не лучше, кроме того, он не для всех. И нехорошо тебе, у которого есть Совет, «Собеседник» и куча других сред, объяснять одиноким, что им прекрасно и участь их завидна. Все равно как здоровый пришел в больничную палату и доказывает лежащим больным, что теперь у них больше времени для духовного самосовершенствования.

Печатать я не стал. Но думать на эту тему продолжал. И когда 32 года спустя у меня завелся на «Эхе» новый радиный проект — формат которого придумали мы опять вместе с Комаровой, и каждую пятницу она мне устраивает жесткий разбор четверга, — я заметил то же самое: трид-

цать лет такого не было, а теперь стало. Потом пошли письма — теперь уже электронные: я один, я некоммуникабелен, я не вписываюсь ни в один коллектив, так и помру один, что делать?

Надо сказать, тогда сформировалось необычное и очень талантливое поколение — в Москве и провинции много было одаренных людей, все они друг друга знали; некоторые считали их карьеристами, но это просто была такая форма активности, а к комсомольским успехам никто не стремился. Этому поколению не дали сформироваться, его подсекли, оказались востребованы совершенно другие качества — и бóльшая часть этих людей уехала, а некоторые попросту погибли, как, скажем, люди из нашего Совета: Леня Барон, убитый собственным водителем, или Леша Круглов, блестящий молодой актер, повесившийся в армии. (А Дрель живет в Англии, он адвокат Ходорковского, если кто не помнит.) Тогда этот эволюционный скачок по разным причинам не состоялся, но сейчас шансы есть. Такое же блистательное поколение народилось перед войной и было выбито. У меня есть догадка, что таких людей формируют эстетически цельные эпохи: беспримесный террор 1937-го, беспримесный маразм 1983-го, вот и сейчас что-то новое, странный синтез террора и маразма, но то-

же совершенно беспримесное, цельное, почти беспросветное... Тут и происходит эволюционный скачок: появляются новые умные. Посмотрите, какая плеяда была тогда — от Сахарова до Солженицына, от Окуджавы до Трифонова, от Самойлова до Слуцкого! Посмотрите, что могло получиться из поколения 1962—1967: Пелевин, Тодоровский, Щербаков, Владимир Вагнер (главный педагог «Артека», любимый мой старший друг), Денис Новиков... И в восемьдесят пятом на доске стояла сложная комбинация с неочевидными продолжениями, но тут все фигуры смели с доски, и поперла новая простота. Я сам, должно быть, не осознаю уже и четверти собственных возможностей — все больше всяких умений становились ненужными, и я приспособливался, хотя надо было, наверное, сопротивляться. Я и сопротивлялся посильно, но на полную маргинальность все же не решился и до сих пор не знаю, правильно ли это.

Но теперь-то я умный, и теперь меня уже не пугает перспектива прийти в лежащую палату с лекцией о пользе лежания для духовного роста. Я сам уже не ахти какой здоровый. Когда-то у меня было полно друзей, теперь почти со всеми я порвал, и не сказать, чтобы меня это тяготило. Да и то сказать, хороши друзья! Добро бы

просто «Крымнаш», убеждения могут быть какие угодно, — нет: карьеру делают! Доносы пишут, в том числе на меня. Сам, конечно, виноват — плохо выбирал, — но, думается, вина тут не только моя. Мы вообще считаем дружбой любые приятельские отношения, минимизируем требования к себе и людям, и когда эти люди отваливаются, нам почему-то грустно. Да радоваться надо! Не будешь тратить время, которого остается все меньше, не будешь заниматься чужими делами... Истинных друзей, на которых всегда могу опереться я и которые могут рассчитывать на меня, больше пяти и быть не может (а у меня семь, спасибо, Господи!). Время сейчас такое — не надо никого собой обременять. Думать самостоятельно — потому что совпадать с большинством позорно. Писать без оглядки на вкусы — потому что все надоело, а значит, имеет смысл только абсолютная, вызывающая новизна, обреченная никому не понравиться. Вообще, сейчас стыдно быть не одному. В крайнем случае можно вдвоем — но вдвоем хорошо спать, а думать все-таки лучше в одиночестве. Сейчас время другой формы общения — таких переключек на большие расстояния: словно карта мигает фонариками. Там город, тут город... Когда летишь над Россией в ясную ночь, видны именно мерцающие пятна городов, а между ними огромные темные пу-

стоты. Вот так и надо перемигиваться, находя истинное счастье в редких совпадениях с далекими людьми. Сейчас у нас есть это удовольствие: умные и правильные совпадают, их мало, им трудно, тем больше они ценят друг друга. Время радостной принадлежности к массе — это у нас позади и, боюсь, навсегда. Большинство скомпрометировало себя навеки. Новое общество будет обществом одиночек, новый прорыв — прорывом единиц. И только это чего-то стоит. Только в одиночестве можно чем-то стать — и тогда все к тебе побегут, не будешь знать, куда деваться.

А вообще, любому, кто не сидит в одиночной камере, грех жаловаться на одиночество. Надо иногда перечитывать что-нибудь такое, знаете, по истории российской юриспруденции — например, книгу Евгения Анисимова «Дыба и кнут». Одинок тот, кто сидит в каменном мешке. Еще более одинок тот, кто сидит на колу. А у вас всегда — пока, слава богу, — есть возможность выйти на улицу, потоптаться в толпе, пойти в кафе и посидеть там одиноким инопланетянином, глядя на посетителей и мысленно докладывая о них невидимому Центру. Он есть, можете мне поверить. Центр всегда есть.

Адекватным ответом на британскую экранизацию «Анны Карениной» работы Джо Райта со стороны Госдумы могло быть только срочное распоряжение об экранизации какой-нибудь са크ральной английской классики — скажем, «Робинзона Крузо» — в исполнении Никиты Михалкова с Евгением Мироновым в роли Робинзона и Чулпан Хаматовой в качестве Пятницы, с балетом, зонгами группы «Любэ» и финальным явлением спасительного полковника-колонизатора, сипящего на титрах «God Keep the Queen». Вот этим бы им подзаняться, а не законом Димы Яковлева: детям никакого ущерба, а русская литература как-никак наше последнее бесспорное национальное достояние. Фильм Райта можно купить и показывать в России только в состоянии полной моральной невменяе-

мости (о том, в каком состоянии можно было это снять, судить не берусь — к Тому Стоппарду, сценаристу, у меня претензий нет, все русское, кажется, успело засесть у него в печенках еще во время сочинения десятичасового «Берега утопии»). Перечислять несообразности имело бы смысл, будь у авторов серьезная художественная задача, хоть подобие пиетета к подлиннику — каковой пиетет ощущался, скажем, в откровенно дикой французской киноверсии Бернарда Роуза 1997 года: там был ужасный Левин, Софи Марсо, так и не вышедшая из амплуа французской школьницы, внезапно открывшей для себя радости секса, и главный русский национальный спорт — пробег сквозь дворцовые анфилады; но Роуз, повторяем, старался. Райт, снявший до этого вполне серьезное «Искупление» и откровенно издевательскую версию «Гордости и предубеждения», явно действовал не без концепции, но сама эта концепция, если уж называть вещи своими именами, свидетельствует о таком усталом и безнадежном отвращении ко всему, что называется русским стилем, что даже как-то и не знаешь, как к этому относиться. Либо действительно принимать антирайтовский закон, устанавливая думское эмбарго на все последующие работы Киры Найтли (уверен, что за нее выйдут на улицы не меньше народу,

чем за сироток), либо трезво спросить себя: чем мы это заслужили? Второй подход, думается, перспективнее.

Я не стану вспоминать тут усадьбу Леви-на, словно перекочевавшую из дэвид-линовской версии «Доктора Живаго», и тоже с куполами; если они так себе представляют яснополянский быт, то и Бог с ними, «Последнее воскресенье» должно было лишить нас последних же иллюзий. Не стану придираюсь к Левину, более всего напоминающему сельского дьячка иудейского происхождения, к его брату-народнику, подозрительно похожему на завсегдатая опиумной курильни, к Вронскому, которого так и хочется перенести в экранизацию «Снегурочки» в качестве Леля, нахлобучив на его соломенные кудри веночек из одуванчиков; к перманентно беременной Долли и пока еще не беременной, но уже подозрительно округлой Китти, играющей с Левиным в кубики с английскими буквами — и видит Бог, для этой сладкой пары трудно подобрать более органичное занятие. Как говорил чукча после падения в пропасть пятого оленя — однако тенденция. Если прибавить к этому персонажа из Третьего отделения, следящего за всеми героями и периодически сообщающего, куда им следует пойти, если припомнить бюрократический

балет по месту работы Стивы, которого в первом кадре зачем-то бреет тореадор в плаще, если вспомнить заседания Государственного совета, на которых обсуждается семейная драма Каренина, станет ясно, что роман Толстого сделался для Стоппарда, Райта и многих еще представителей британской интеллигенции воплощением русского штампа, то есть всего максимально противного и смешного в местной действительности. Добавьте к этому перманентно исполняемую за кадром песню «Во поле березка стояла» (с акцентом) и детскую железную дорогу, с которой играет Сережа, а также периодические проходы через золотую рожь — и месседж картины станет вам ясен: как же мы все их достали, мать честная!

История — по крайней мере русская — повторяется бессчетное количество раз: сначала как трагедия, потом как фарс, а потом еще много, много раз как говно. Этот ужасный закон никак иначе не сформулируешь (слово «дерьмо» представляется мне более грубым, а другого названия для вторичного продукта человечество не придумало). Нельзя бесконечно проходить через одни и те же анфилады, уставленные граблями, и думать, что кто-нибудь станет относиться к этому всерьез. В эпоху, когда истерическая

пугалка престарелой кинозвезды «Сделайте по-моему, а то я приму русское гражданство!» стал международной модой, невозможно ожидать другой «Анны Карениной». Собственно, уже Вуди Аллен в «Любви и смерти» отчаянно поиздевался над русскими штампами — но, во-первых, именно над развесистой клюквой, а во-вторых, в картине он выказал как раз изумительное ее знание и тонкое понимание, чего у Райта нет и близко — да и у Стоппарда, увы, оно куда-то делось. Вуди Аллена русские пошлости волновали и смешили — Райт пользуется ими как безнадежно отыгранными; наконец, Вуди Аллен глумился над западным представлением о России, но не над «Войной и миром» или «Преступлением и наказанием»; Райт и Стоппард выбрали для экранизации — а стало быть, и глумления — самый совершенный и потому самый сложный роман Толстого.

Вот тут моя главная обида. Все-таки человек, что называется, писал, не гулял. Оно, конечно, прав Блок, в дневнике записавший «видно, как ему надоело»; есть там, действительно, и повторы, и куски, в которых чувствуется усталость, но в целом «Анна Каренина» — один из самых безупречных романов, когда-либо написанных. Это результат действительно титанических усилий

лучшего из русских прозаиков at his best, в лучшее, по собственному признанию, время, причем автора интересовала не только «мысль семейная», а прежде всего художественное совершенство, пресловутое сведение сводов: дальше, после этой вершины, можно было вовсе отказываться от художественного мастерства, чтобы прийти к нагой мощи поздней прозы. Лейтмотивы, тончайшая и точнейшая конструкция, фабула, идеально выбранная для метафоры всей пореформенной России, которая попыталась было сломать национальную матрицу («переворотилось и только еще укладывается»), да и рухнула опять во все то же самое, по-левински утешаясь частным «смыслом добра», — все тут выстроено строго, с тем интеллектуальным блеском и расчетливостью зрелого гения, до которых всей мировой прозе было тогда как до звезды. Можно обожать Золя, преклоняться перед Джеймсом, — но тут, хотите не хотите, прав был Ленин: кого в Европе можно поставить рядом с ним? — некого. Он, пожалуй, угадал в «Анне Карениной» и собственную попытку сломать любимую и проклятую матрицу и собственную символическую смерть на железной дороге, той железной дороге русской истории, которая оказалась замкнутой; там сказано и поймано больше, чем мог понять он сам — и не зря, слушая в старости чтение «Ан-

ны Карениной» в собственной семье, он сначала не вспомнил, чье это, и подивился: хорошо написано! Никто не требует от интерпретаторов слепого преклонения, копирования, механистической точности — но уважай ты труд человека, который был не тебе чета; который не гениальными озарениями (выдумкой дилетантов), а фантастически интенсивным трудом выстроил универсальную конструкцию, оказавшуюся больше самых честолюбивых его планов. Ведь в семейном и светском романе, о котором он мечтал, больше сказано о трагедии вечного русского недо-, о половинчатости всех здешних предприятий, о природе всех начинаний, нежели во всей отечественной прозе! (Это уж я не говорю о чисто художническом мастерстве, о тысяче частных, о мелочах вроде перемен настроения у художника Михайлова или о том, как собака Ласка думает о «всегда страшных» глазах хозяина.) И в эпиграфе к этому роману с его очевидным, а все же неуловимым, невысказываемым смыслом, все сказано о будущем отношении к этим русским любовным историям и русским реформаторским попыткам: не лезьте со своими суждениями, Мне отмщение, и Аз воздам. Не в вашей компетенции мстить и судить, все сложно, мир так устроен, чтобы в нем не было правых, — я разберусь, а вы не смейте празднословить, клей-

мить и назначать виновников. И мы еще очень будем смотреть, кто окажется прав — Анна или Левин, который со всей своей прекрасной семейной жизнью прячет от себя веревку и в конце концов, мы это знаем, уйдет из дома, оставив жене прочувствованное, но отчужденное письмо.

Все эти очевидные вещи приходится напоминать не только Стоппарду и Райту, которые меня и вовсе не прочтут, — но нам всем, и вот в какой связи. Ведь это их нынешнее отношение к Толстому как к чему-то заштампованному, безнадежно навязшему в зубах, тоскливому, уже неотличимому от кафе «Русский самовар», — оно же не толстовская вина в конце концов. Это заслуга страны, так ничего с тех пор и не породившей, так и не сумевшей изменить этот заскорузлый образ. По идее нам, всей русской литературе, надо срочно менять эту самую матрицу, состоящую из березоньки в поле, бессмысленной бюрократии, святоватого и вороватого пьющего народа, а также Третьего отделения (вот бессмертный и самый актуальный бренд); надо срочно писать что-то другое — да как его напишешь, откуда возьмешь, ежели его нет в реальности?! Гоголь сошел с ума, пытаясь написать второй том «Мертвых душ» в то время, как еще не кончился первый (сумел невероятным усилием угадать

людей будущей эпохи, того же Костанжогло-Левина, — но на этом подвиге сломался, задохнулся, не получая подтверждений). Мы все живем в бесконечном первом томе, но сколько можно?! Из чего сделать новый образ России, если к ней до сих пор приложимы все афоризмы Салтыкова-Щедрина? Ведь это мы, мы сами сделали так, что на наших классиков стало можно смотреть настолько свысока; это мы собственным бесконечным копанием в своем ничтожном, в сущности, двухвековом культурном багаже, сделали этот багаж штампом, над которым можно теперь только измываться! Чего стоила бы британская культура, остановись она на Диккенсе? У Чехова четыре сценических хита и два полухита — но можно ли на этих шести пьесах полтора века строить имидж России? «Анна Каренина» — величайший русский роман, но если за полтора-ста лет ничего не прибавить ни к этому роману, ни к этой железной дороге, поневоле дашь иностранцу право на снисходительность, на интерпретацию без чувства и мысли, на пренебрежительный и эгоцентрический подход: ему интересно поэкспериментировать с театральностью, вот он и берет для своих экспериментов самую совершенную русскую книгу, и плевать он хотел на ее скрытые смыслы, потому что...

Потому что кто мы сегодня такие? Новая родина Жерара Депардье? Спасибо большое.

По «Анне Карениной» Райта видно, до какой степени мы им действительно надоели — с нашим неумением сделать выбор, с нежеланием работать, с рабской покорностью перед любой правительственной мышью, с вездесущей и всевластной тайной полицией, с бессмысленным трепом, с враждой к интеллекту и преклонением перед дикостью; видно, насколько деградировало уже и самое наше злодейство, не вызывающее ни гнева, ни смеха, а только бесконечную тоску. Мы перестали быть страной с живыми проблемами и живыми лицами — мы теперь декорация для постмодернистского балета; мы не смеем претендовать на то, чтобы они чтили наши святыни и помогали нам в борьбе с нашими пороками, — именно потому, что они от всего этого уже невыносимо устали, а мы еще нет.

Это не они снимают в жанре кала — это мы в нем живем.

Весной этого года я выступал в Дублине на традиционной неделе русской культуры и зашел на распродажу книг в местной университетской библиотеке — на таких распродажах попадают сокровища. После часа увлекательных хождений по рядам библиотечный ангел подсунул мне красную книжечку 1931 года — роман Винсента Шина «Гог и Магог», да еще и с автографом.

Винсент Шин (1899—1975) известен главным образом как автор «Личной истории» — полудокументального и отчасти автобиографического шпионского романа, по мотивам которого Хичкок снял в сороковом «Иностранного корреспондента». Знают его и как любимого собутельника Хемингуэя времен их совместной работы в «Чикаго Трибьюн». Он вечно оказывался в центре великих событий — не в силу журна-

листской интуиции, а благодаря, как формулировал он сам, «страстной жалости к угнетенным». То ли предчувствия, то ли журналистская удачливость помогали ему безошибочно выбирать болевые точки мира: в 1947 году он отправился в Индию искать смысл жизни — а три дня спустя на его глазах убили Махатму Ганди, чью биографию он написал 8 лет спустя. В биографическом очерке о Шине на хорошем историческом сайте Traces.org сказано, что СССР он посетил проездом из Китая и «сочувственно наблюдал за становлением большевизма». О степени этого сочувствия читатель сможет судить сам, если полезнейшая книжка Шина будет у нас издана; перевести ее несложно, он пишет хоть и немного выпренним, но в целом простым журналистским слогом, а удовольствия масса — во всяком случае, для постсоветского читателя. Когда герои Шина разговаривали о русской национальной исключительности, оплоте духовности и благодетельности палки, все это было обычным *deja vu*; когда ровно в момент разборок в Большом театре я читал у него об интригах в Большом театре — это был повод похихикать, не более; но когда дело дошло до встречи с диссидентом на Болотной — чувство безвыходности Русского Круга придавило меня так же, как главного героя в финале.

Шин интересовался Россией (и Индией!) давно — еще в мае 1928 года он опубликовал в «Нью рипаблик» весьма сочувственную рецензию на книгу австрийского культуролога Рене Фюлоп-Миллера «Ленин и Ганди». Вот, кстати, чьи книжки полезно бы переиздать — при всей их наивности! Работы Фюлоп-Миллера «Охрана: Советская тайная полиция» (1930) и «Лицо и смысл русского большевизма» (1927) были бы сейчас очень ко времени — а у нас издана лишь его клюквенная книжка о Распутине. Но пока у нас речь о Шине: «Гог и Магог» — роман пророческий, но заметил его мало кто. Разве что феминистка Юдора Ричардсон (впоследствии соавтор бестселлера «Как пить и остаться трезвым») написала, что автор так и не понял сущности большевизма, что он остался для него зловещей мистической тайной, как библейские Гог и Магог, и что персонажи схематичны: «Роман возможен без главной мысли, но без живых героев — увы». Между тем Шин увидел в русской революции куда больше, чем рецензент — в его романе: русские корни советского прослежены у него с великолепной точностью.

Сюжет несложен и завязывается в Париже, в 1927 году: молодой американец Джон, бездельник, бродяга, не выбравший в свои 27 ника-

кой профессии, но наделенный хорошим вкусом и несколько старомодными взглядами на мораль и закон, на рауте у сестры знакомится с легендарной русской (советской) певицей Терсчеллинг. На вид ей около сорока, хотя она говорит, что 34 — а на деле, кажется, все 48; есть в ней нечто от Дункан, хотя она как раз вполне русская. Она пленяет молодого человека (которого называет Ванюшкой) неполиткорректным поведением и откровенностью, он едет к ней ночевать и остается при ней в качестве пажа. Вскоре Терсчеллинг собирается назад, в Советскую Россию, и приглашает Джона с собой. Родственники юноши в ужасе, но Терсчеллинг и Советская Россия так интересуют его, что плевать он хотел на чужие мнения. «Я выдам тебя за студента, изучающего политику. В Москву они едут сплошняком. Даже не знаю почему, ведь Россия — единственная в мире страна, где политики нет».

В России герой сближается с друзьями и коллегами Терсчеллинг — и прежде всего с журналистом Григорием Козловским. «Вы говорите как истинный русский», — говорит советский журналист американскому туристу после первого обмена мнениями. «Могу сказать еще что-нибудь сугубо русское. Например, за пределами Москвы

вообще не бывает театра. Есть артисты, есть певцы, но театра в подлинном смысле не осталось уже нигде». «Отлично! — замечает Гриша. — Не правда, но как сформулировано!» — «Могу еще. Русские под Березиной повергли в прах Западную Европу во главе с Наполеоном. Британцы пытаются несчастных обитателей голландской Ост-Индии. Только в России умеют преданно любить Родину. Декорации парижской Гранд-Опера не согласились бы принять в дар даже в Иркутском государственном театре. У американцев не бывает души». — «Отлично! Мы сделаем из вас настоящего русского».

Гриша выступает своеобразным гидом Джона-Ванюшки по красной Москве.

«— Не очень-то вы любите евреев, судя по всему, — заметил Джон.

— Покажите мне русского, который бы их любил. Они ведь настолько умнее нас! Все население Николаевской губернии после революции подалось в Москву и теперь владеет нами.

— Николаевской губернии?

— Это город близ Одессы, сплошь населенный евреями. Почти вся нынешняя российская власть происходит оттуда. Боюсь, там никого не осталось».

Не отстает и квартирная хозяйка, бывшая балерина мадам Кордые: «Знаете ли вы, что эти грязные большевики — сплошь евреи, присланные сюда всемирной еврейской тайной сетью, чтобы разрушить Россию? (...) Туалет не работает, мсье! Ничто здесь не работает с семнадцатого года!» Далее бывшая балерина произносит трехстраничный монолог о том, что в балете сегодня не получишь ни одной приличной роли, если не будешь дружить с властью. Эти монологи почти дословно повторялись в российской прессе в апреле-мае этого года. Предсказан у Шина и Сноуден: один американский корреспондент, Шерчил, страстный марксист, так любил Россию, что, умирая в Москве, завещал развеять его прах над городом. После кремации коллеги, сменивший Шерчила в корпункте, обратился с этой просьбой к большевистским властям, но его встретили недоумением и даже смехом. Сначала ему отказались предоставить самолет для развеивания, затем отказали в просьбе подняться на кремлевскую башню — в результате прах так и остался у квартирной хозяйки, где проживал несчастный американец. «Джон ощутил страстное желание исчезнуть, бежать из этой комнаты, дома, города, всей измученной, невыносимой страны: чудовищная старуха с ее неостановимой болтовней, не умолкающая ни на се-

кунду — ах, как мы страдали, мсье! — ее муж-имбецил, кочаны чайных роз на обоях и тихий мальчик с вечно протекающим носом — и прах безумного американца на обеденном столе! И сортир не работает — разумеется, по вине революции. Все было не так в этом доме, и сам он был не на месте в нем. «Почему они все время рассказывают, как они страдали? Можно подумать, прочие создания божьи только и делают, что блаженствуют!»

Пока Терсчеллинг шумно празднует возвращение в Москву и репетирует в театре, Джон осматривает московские музеи. «Я видел все московские картины, хорошие и дурные, европейскую и — видимо, за грехи мои тяжкие — русскую живопись. В музеях я изучал историю революции, видел воротнички Ленина, ногти Достоевского и зубочистки Кропоткина. Сколько всего хранится в московских музеях!» Вскоре он знакомится с молодой американкой Шейлой Радд. Она сообщает ему, в частности, что, если русские слишком часто посещают зарубежные посольства, их могут заподозрить в нелояльности и того гляди сослать в Сибирь. Американцы обсуждают особенности московской жизни: «А эти голуби, жуткие голуби?! Будят меня каждое утро! Они куда хуже кошек!» — «Это

русские голуби. Они много страдали». «Не все понимаю в вашем разговоре, — вступает Гриша, — но, кажется, вы нападаете на святую Русь». — «Отнюдь! — восклицает Джон. — Только на голубей, обои, призраки, урны с прахом и неработающие сортиры, но я все еще надеюсь обнаружить что-то еще!» — «Боюсь, другой, — замечает Гриша, — вы впали в типично русское настроение». Джон впадает в это настроение чем дальше, тем глубже: «Не то чтобы прежде Джон не догадывался о существовании нищеты и несправедливости — но только в России он увидел их столь агрессивными. В других странах нищие просили, а здесь требовали, атаковали, обвиняли. Они не просили о благотворительности, а требовали долг, как кредиторы. Их злые голоса обвиняли весь внешний мир, в котором такие, как Джон, жили в тепле и безопасности, пока остальные прозябали в ночи, полной угроз. И даже когда он подавал — он не искупал этим своего теплого пальто и сытого желудка».

Особый интерес представляют дискуссии Джона с его новой пассией — насмешливой, рыжей и сероглазой чикагской уроженкой Шейлой. Шейла — убежденная марксистка, «хотя с ее врожденным чувством юмора непросто бы-

ло отвлекаться от смешной стороны всех этих массовых верований и языческих жертвоприношений». Джон пытается объяснить ей, что «здание ее веры состоит из тысячи взаимоисключающих, сталкивающихся неправд», — но у нее, как у всякого левака, готов ответ: «Если ты не хочешь сделать мир чуть лучше, ты эгоистичная свинья, гедонист, солипсист, просто овощ! Если тебя устраивает, что китайские кули работают по 12 часов в день за 20 центов и ты можешь спокойно жить, наслаждаясь их трудом, — ты свинья, каковы бы ни были твои взгляды!» «И ты готова взорвать большую часть мира, пролить моря крови, принеся хаос и разруху, ради чего? — ради шанса?! Ради ничтожного шанса на улучшение их жизни ты готова принести эти жизни в жертву?!» — «Все лучше, чем терпеть нынешнее положение!» — отвечает ему рыжая, и эти разговоры буквально скопированы с любого современного форума о московских выборах, которые якобы ведут страну к кровавому хаосу; о, если бы все увидели, до какой степени все это уже отспорено! Ленинская доктрина, говорит Джон, годится лишь для людей умных, но полуобразованных: так сложились биографии ее создателей. Она годится лишь для тех, кому нечего терять, — а это не лучшие люди. (Здесь же он замечает, что эта доктрина в значительной степени еврейская,

но при комиссаре нельзя сказать слово «еврей», чтобы не быть обвиненным в антисемитизме.) Но нас больше интересует не доморощенная социология двух влюбленных американцев, еще не понимающих, что они влюблены, а их взгляд на Россию.

«С запада надвигалась снежная туча. Черт, черт, черт, — думал он. Он вышел с побелевшей Моховой на Кропоткинскую. Он думал о князе Кропоткине, имперской архитектуре, о Наполеоне, о бесчисленных музеях вокруг и о том, что Москва была поистине городом-музеем, лавкой старьевщика, вроде описанной на первых страницах «Шагреновой кожи»: товар пятидесяти веков был разложен на ее прилавках. Правда, пятидесяти веков тут не было — максимум четыре, но изобилие, нищета и насилие этих четырех были тут как тут, живые, неведимые! Это и отличало Москву от прочих человеческих муравейников: изобильна, чрезмерна, переполнена насилием — и неизменна в каждом новом возрождении из руин и пожаров! Это был музей вечно возрождающейся жизни, кишашая, роящаяся, нападающая масса, четыре столетия, спрессованные в одном дне. И этот день, этот прилавок древностей заметало снегом».

Само собой, идеалистка Шейла — впадающая во все более глубокую депрессию с каждым новым днем, прожитым в России, — заболевает и умирает; Джон, которого она почти успела убедить в своей правоте, после ее похорон уезжает в Париж. Сама мысль о Терсчеллинг ему противна — ибо Терсчеллинг с каждым днем в России выглядит все старше, и сам ее облик становится воплощением тяжести: тяжелый подбородок, набрякшие веки... Постепенно в воображении Джона она становится символом самой России, отяжелевшей и вечно молодящейся. Он уезжает в Европу, у которой нет будущего, из такого будущего, которое его категорически не устраивает: «Я надеюсь не дожить до времен, когда оно победит». Самое горькое, что в стране победившего гуманизма нельзя найти для Шейлы ни одного приличного врача, и помочь ей некому — единственный частник ничего не смог сделать. И единственная общая мысль, которую так тщила обнаружить в книге рецензентка, на последних страницах очевидна: человечество в кризисе, но выход через бесчеловечность никуда не годится, а самая опасная и обманчивая из теорий побеждает в России именно потому, что бесчеловечность тут разлита в воздухе.

Наверное, кто-то назовет эту книгу русофобской. Спорить об этом бессмысленно — еще Гриша Козловский обвинял Джона (и, видимо, автора) в оскорблении святой Руси. Но если книга 1931 года совпадает с Россией 2013 года во всех реалиях, вплоть до диалогов на сумрачной Болотной, не значит ли это, что пора хоть немного сдвинуться с описанной точки?

Информационных поводов до российской премьеры «Левиафана», намеченной на февраль, как минимум два. Во-первых, он получил премию американских кинокритиков, а 15 января, уж будьте уверены, войдет в шорт-лист иностранных кандидатов на «Оскара». И на самого «Оскара» у него прекрасные шансы — в последнее время там побеждали картины много слабей и, так сказать, несвоевременней. А во-вторых, его пиратским образом выложили в сеть, и картина сделалась общедоступна за месяц до российского показа, хотя отдельные счастливицы видели ее в Каннах, на «Кинотавре» и нескольких московских показах для избранных. Александр Роднянский, один из продюсеров фильма, полагает, что

* Учитесь, мы забавные! (англ.)

его выложил в сеть кто-то из бесчисленных отборщиков: честно говоря, на месте Роднянского и Мелькумова я бы только радовался. В нынешних обстоятельствах шансы «Левиафана» на широкий российский прокат — if any — исчезающе малы, а так есть надежда, что его увидят хоть в тех же северных провинциях, в которых и о которых он снят. Конечно, такое красивое кино (оператор Михаил Кричман) надо смотреть на большом экране, а еще лучше в Каннах, но такая возможность будет явно не у всех, так что пиратам спасибо. Иногда мне даже кажется, что Роднянский с Мелькумовым все поняли и сами ратифицировали кино, которое в противном случае запросто могло остаться легендой, даже получив «Оскара». Ведь золотая пальмовая ветвь за сценарий у него уже есть, а намеченная в октябре российская премьера отодвинулась на три месяца.

Как бы то ни было, я посмотрел самую титулованную, ожидаемую и качественную российскую картину последнего времени. «Левиафан» — мрачное и сильное кино, по которому когда-нибудь будут судить об атмосфере путинской России. Те, кто в ней не живет, судят уже сейчас. Он несколько созвучен — бессознательно, потому что долго делался, — раньше вышед-

шим «Майору» и «Дураку» Юрия Быкова или, допустим, «Жить» Сигарева, но сделан на порядок лучше: «Майор» и «Дурак» — качественная кинопублицистика про коррупцию и раздолбайство, а «Левиафан» все-таки про страну и где-то даже про человечество. Фильм Сигарева — интересный режиссерский опыт талантливого драматурга; «Левиафан» — хорошее европейское кино, с лейтмотивами, образами, мощными актерами, точными диалогами и долгим послевкусием. Звягинцев пока единственный, кто отважился высказаться об отпадении России от Бога и о том, какую роль сыграла в этом официальная церковь, — за одно это фильм можно было бы назвать выдающимся событием и отважным поступком, но отвагой, слава Богу, его достоинства не исчерпываются. Это кино производит впечатление, да, и все-таки к этому впечатлению примешивается раздражение, в причинах которого поначалу не хочется разбираться. Дело в том, что по фильму Звягинцева действительно можно судить о нынешнем состоянии страны, он совершенно ей адекватен — и потому вызывает столь же неоднозначные чувства. Он так же как она, мрачен, безысходен, вторичен — как и Россия вечно вторична по отношению к собственному прошлому, — внешне эффектен, многозначителен и внутренне пуст. Как и в России, в нем

замечательные пейзажи, исключительные женщины, много мата и алкоголя — но при сколько-нибудь серьезном анализе сценарные ходы начинают рушиться, образная система шатается, а прокламированный минимализм (использована музыка Филиппа Гласса) оборачивается скудостью, самым общим представлением о реалиях и стремлением угодить на чужой вкус. Это типично русская по нынешним временам попытка высказаться без попытки разобраться — спасибо «Левиафану» и за то, что он назвал многие вещи своими именами, и все-таки увидеть в Звягинцеве наследника сразу двух великих режиссерских школ — социального кинематографа семидесятых и метафизического кино Тарковского — мне пока никак не удастся. Для Тарковского он поверхностен, для социального кино обобщен и невнятен; этот грех был замечен уже в «Возвращении» (кстати, «Елена» в этом отношении кажется лучше, скромней, проработанней); выстреливая по двум мишеням, Звягинцев по большому счету в обоих случаях промахивается. Наверное, это не его вина. Наверное, настоящее кино о путинской России будет снято, когда этот период нашей истории закончится — тогда отпадут цензурные ограничения, а многое увидится на расстоянии. Спасибо и за то, что есть, — но вот беда: главная метафора картины досадно

расплывается. Если Левиафан — государство, то не государство же виновато в том, что эти люди «так живут», да и вообще не очень понятно, чем они лучше этого государства: почти все второстепенные герои с их фальшью, отсутствием морального стержня, корыстью, стукачеством и алкоголизмом идеально ему соответствуют. А если, как в книге Иова, речь о миропорядке вообще, о том, что мир и есть глобальная мясорубка и обнаружить в жизни смысл так же невозможно, как уловить удою левиафана, — неясно, при чем тут, собственно, Россия и всякого рода конкретика.

Не думаю, что пересказ фабулы может сойти за спойлер, — из многочисленных рецензий и звягинцевских интервью и так известно, «про что кино». Мэр маленького северного города, известный, однако, масштабным воровством (столичный адвокат привозит ему целую папку компромата, и диалог адвоката с мэром почти дословно копирует разговор Бендера с Корейко), хочет скрыть ухоженный домик главного героя, золоторукого автослесаря Николая, дабы построить на его месте что-то личное, своекорыстное — не то резиденцию, не то совместную с иностранцами гостиницу (здесь тоже невнятица). Непонятно, правда, чем один кусок пустынного берега лучше любого другого — места пол-

но, строй, где хочешь; добро бы он домик с верандой хотел отжать — ан нет, он его эффектно разрушает ближе к финалу. Все равно что садиться на рельсы и говорить «подвинься», — да уж ладно, поверим в эксклюзивность именно этого клочка неласковой северной земли. Чем конкретно грешен мэр, что там в папочке — нам не рассказывают и даже не намекают: у нас ведь притча, универсальное высказывание. Мэра в колоритном — даже гротескном — исполнении Романа Мадянова приказано считать абсолютным злом; допустим. Такие же персонажи театра масок — злобная прокурорша, brutальный начальник местной милиции, соглашательница-пиарщица (если она пиарщица, а то из единственной сцены совещания злодеев это опять же неясно; опознал ее по слову «конструктив»). Алексей Серебряков — один из лучших актеров современной России — героически пытается насытить роль живым содержанием, но, кажется, даже о библейском Иове мы знаем больше, чем о Николае. За что нам его любить, собственно, где тут пространство для любви и сострадания? Вот он говорит о местном гаишнике — монстр, мол, двух жен на тот свет спровадил, — но не знаю уж, сознательное это совпадение или нет, сам-то он по факту тоже двух жен спровадил на тот свет, хотя в обоих случаях ни в чем не вино-

ват. Просто это так выглядит со стороны. За что его сын Роман так люто с самого начала ненавидит мачеху? Почему эта мачеха — в хорошем, но опять же энигматичном исполнении Екатерины Лядовой — стремительно бросается в койку московского друга-адвоката, и это бы ладно, тут-то муж ничего не узнает, но она ведь еще и на пикнике голову теряет, отдается герою Вдовиченкова чуть не на глазах у пьяного супруга! Женщина с суровым северным опытом жизни, отлично представляющая характер мужа и его собутыльников, стремительно разрушает свою жизнь — оно, конечно, пьяная баба себе не хозяйка, но судя по легкости, с какой она опрокидывает алкоголь, есть у нее некая толерантность к нему? Стремительное самоубийство после примирения с мужем (а не после бегства любовника) еще менее поддается осмыслению: оно, конечно, если столько пить и драться, не выдержит никакая психика, но вот она только было поняла, что мужу сейчас без нее полная погибель, вот она вроде бы и отдалась ему в погреб — а с утра вдруг как-то осознала, что дальше так жить не может? Психологические выверты, конечно, всякие бывают, но когда их слишком много — смысл начинает хромать; с чего вдруг мэр перестал бояться разоблачений адвоката? «Пробил» его по своим каналам? — но папочка-то ведь настоящая, он при

нас ее просмотрел и не на шутку перепугался. Разумеется, лицо путинской власти на всех этажах одинаково, это лицо наглое, и при малейших попытках сопротивления эта власть сначала дико пугается, а потом набирается прежнего хамства, как и было после Болотной; но неужели для обретения прежней самоуверенности ей достаточно услышать пасторское слово? Или тут какая-то тайная слабость московского адвоката, о которой нам опять же не рассказали? Впрочем, за всеми этими частными вопросами скрывается один, куда более общий: неужели действительно власть виновата в том, что все герои этой картины друг друга ненавидят, адски пьют, ни во что не верят и все терпят? Ведь Николай и попытки сопротивления не делает — один раз за ружье схватился да на мента наорал; конечно, нынешняя Россия в самом деле бессильна и далеко зашла по пути разложения, но тогда где, собственно, левиафан? Может, его и нет давно — и не зря в картине периодически появляется огромный китовый скелет, словно отсылающий к мертвому морскому чудовищу в финале «Сладкой жизни»? Все давно сдохло, включая левиафана, — вот что самое страшное; но до этой констатации фильм Звягинцева, боюсь, не дотягивает. Слишком в нем много чисто русского стремления понравиться — и упоминанием о «Pussy Riot», и вечными

штампами насчет русской провинциальной жизни; нет слов, хороший экспортный продукт сейчас донельзя необходим деградирующему российскому кино, да вот с Николаем-то что делать? С адвокатом Дмитрием? С мэром? Мальчику Роману, хотя он и злой мальчик, здесь еще жить, а какая тут может быть жизнь, непонятно. Чтобы эта жизнь продолжалась и вырливалась из болота, ее как минимум надо знать. Пока же российское кино делается на уровне ощущений — и ощущение стыдного бессилия Звягинцев передал блистательно; беда в том, что это и его собственное бессилие.

Впрочем, адекватность — тоже не последнее дело.

В последние годы я упрямо раздумывал над романом, от чтения которого нельзя будет оторваться. Поводом для этих размышлений послужило отсутствие книги, которую я сам читал бы с неослабевающим интересом: напротив, от большинства создающихся ныне текстов хочется отвлечься на первое попавшееся обстоятельство. В конце концов, кажется, я что-то такое придумал. Роман будет называться «Океан». Читателю предлагается конспект одной из сюжетных линий — не магистральной, но магистральной там и не будет, как во всякой сети.

Поверить в существование сети трудно, пока с ней не столкнешься лично. Пример: 29 ноября 1970 года в долине Исдален, что близ Бергена, Норвегия, примерно в четверть второ-

го пополудни преподаватель вуза, отдохавший на пленэре с двумя дочерьми, обнаружил сильно обгоревший труп женщины лет тридцати — тридцати пяти. Рядом с ней нашлась пустая бутылка из-под ликера, две пластиковые бутылки с сильным запахом горючего, пузырек снотворного «Фенемал» и, внимание, серебряная ложка. Рядом лежал паспорт, тоже сильно обгоревший.

Вскрытие показало, что в желудке у неизвестной ликер и много снотворного, и потому первой официальной причиной смерти обозначили самоубийство. Но потом выявился перелом шеи — по-видимому, вследствие удара, — и возникла версия об убийстве. Да и потом не сама же она себя подожгла! Железнодорожные служащие узнали ее по фотороботу. Да, эта женщина заходила на вокзал в Бергене, она сдала два своих чемодана в камеру хранения. Вот и чемоданы. В них обнаружили костюмы со срезанными этикетками в восточноевропейском или итальянском стиле, черная записная книжка с зашифрованными записями, парик, 500 немецких марок, 130 норвежских крон, несколько пар темных очков и, внимание, серебряные ложки. Когда записи в блокноте расшифровали, выяснилось, что это отчет о городах, которые женщина

посетила начиная с марта 1970 года. Она путешествовала под девятью именами. В ноябре она успела остановиться в трех бергенских гостиницах, в которых ее также опознали. Во всех гостиницах она требовала номер с балконом и заказывала на завтрак кашу с молоком. Росту в ней было порядка 164 см, особая примета — широкие бедра, говорила по-немецки, по-французски и один раз по-итальянски, но всякий раз с акцентом, который портье затруднился распознать. Исследование ее зубов ничего не дало, кроме того, что одну пломбу она поставила, судя по составу, в Латинской Америке. Дактилоскопия оказалась невозможна, поскольку кожа на пальцах была стерта.

В гостиницах она представлялась коллекционером антиквариата. График ее перемещений был таким: в конце марта она поселилась в отеле «Викинг» и прожила там три дня под именем Женестьеви Лансьер. Оттуда переехала в Стангер, а потом в Берген, где остановилась на одну ночь в «Бристоле» под именем Клаудии Тилт. Под этим же именем она зарегистрировалась в «Скандии»; почему так быстро переехала туда, непонятно. После этого она переезжает в Кристиансанд — и на полгода покидает Норвегию: переезжает в Гамбург и Базель, где

ее след теряется. В конце сентября она оказывается в Стокгольме, откуда переезжает в Осло. Из Осло ночью выезжает в Оппдал, где знакомится с итальянским фотографом Джованни Тримболи. Они пообедали вместе, и он остался у нее в гостинице на ночь. Тримболи опознал ее по графической реконструкции, которую опубликовали в газетах, и свидетели подтвердили, что видели его с этой женщиной обедающим в отеле «Александра». Она рассказала ему, что родилась в ЮАР, к северу от Йоханнесбурга, и что у нее есть полгода на осмотр норвежских достопримечательностей. Ночью ничего особенного не было — то есть ничего, выходящего за рамки обычных представлений о случайном сексе. 22 октября она улетела в Париж и остановилась в гостинице «Алтона», но оттуда почти сразу переехала в «Отель Па-де-Кале», процветающий и по сей день; причина столь стремительного переезда опять-таки темна. В «Па-де-Кале» она провела еще три дня, потом вернулась в Норвегию и 30 октября опять оказалась в Бергене, где в гостинице «Нептун» остановилась под именем Алексии Зернер-Мерчерс. Там у нее в номере побывал неизвестный, без особых примет; отельная обслуга впервые заметила, что большую часть времени женщина оставалась в номере, никуда не выходила, сильно нервничала. 6 нояб-

ря она переехала в Бристоль под именем Веры Жарль. Оттуда через Осло двинулась в Ставангер и в гостинице «Святой Суитун» провела одну ночь под именем Фенеллы Лорч. Оттуда она снова направилась в Берген и там зарегистрировалась в отеле «Розенкранц» под именем Элизабет Ленховер, путешественницы из Бельгии. Здесь ее настороженность и затравленность уже бросались в глаза. Остановившись там опять на одну ночь, 18 ноября, 19-го она уже переезжает в гостиницу на другом конце города — «Хордахеймен» — и здесь уже требует номер НЕПРЕМЕННО БЕЗ БАЛКОНА. Оттуда незнакомка съезжает 23 ноября, сказав неизвестному мужчине в лобби: «Я скоро приду» по-немецки. На такси она приехала на станцию Берген, оставила два чемодана в камере хранения и отправилась в долину Исдален, где ее два часа спустя видел случайный прохожий. Он там прогуливался с приятелем и увидел женщину в обществе двух мужчин — как ему показалось, восточноевропейской или южноевропейской внешности; оба были небриты. Женщина выглядела подавленной и испуганной, и когда он проходил мимо, открыла рот, чтобы что-то сказать, — но эти двое так на нее посмотрели, что она замолчала, а прохожий предпочел не вмешиваться. Прочитав в газетах об убийстве, он пришел в полицию, и один по-

лицейский уже намеревался записать его показания, но другой сказал: «ОСТАВЬ. ЭТО ДЕЛО НИКОГДА НЕ БУДЕТ РАСКРЫТО. ЭТО СЕТЬ, СЕТЬ».

Первая мысль, возникающая у любого стороннего наблюдателя, — шпионаж: черные очки, внезапные перемещения, словно виляющие, сбивающие со следа неизвестных преследователей, паспорта на разные имена, дантист в Южной Америке, рождение близ Йоханнесбурга (возможно, легенда) — все как будто наводит на мысль о международной разведке, да и время напряженное, до официально объявленной разрядки еще два года. Что творится в это время в Восточной или Южной Европе? В том же семидесятом в Италии основаны «Красные бригады»; в Греции действуют «Революционные ячейки»; наверняка что-то бурлит в Турции — там всегда бурлит. Берген выбран для встреч, поскольку место удобное — большой порт; сама же Норвегия — страна нейтральная, тихая, почти сонная, с хорошим процентом самоубийств, что и позволяет списать нераскрытую смерть на суицид. Мало ли, металась девушка по всей Европе, меняла парики, имена, легенды, потом ей все надоело, и она наглоталась таблеток с ликером, предварительно срезав с одежды все бирки. Именно срезанные бирки наводят следователя — назовем

его Ингмар Т., хотя в действительности его звали иначе, — на мысль о весьма сходном и тоже нераскрытом случае.

30 ноября 1948 года, пустынный пляж Сомертон в Аделаиде, Австралия. Между половиной восьмого и восемью вечера по пляжу в районе интерната для детей-инвалидов, стоящего у моря, прогуливается пожилая пара и замечает, что некий мужчина — пьяный, думают они, — неподвижно лежит на спуске к пляжу. Он не двигается, но когда они проходят обратно, им кажется, что положение тела изменилось. Другая пара, вышедшая погулять тем же теплым вечером, замечает, что лежащий делает странные движения руками, словно хочет закурить и подносит огонь к сигарете (но огня нет и сигареты тоже). На следующий день утром мужчину находят мертвым. Его рост — 180 см, глаза карие, волосы рыжеватые с сединой у висков, он одет удивительно тепло для австралийского лета — двубортный пиджак, вязанный свитер; у него прекрасно развиты икроножные мышцы, словно он танцор или грузчик, а ступня имеет клиновидную форму, как у тех, кто долго носит остроконечные ботинки. Никаких документов при нем нет, а есть полупустая пачка сигарет Army Club, в которой, однако, лежат сигареты Kensitas. Столовый нож (точнее,

сделанная из него заточка). Пачка «Джуси фрукт», тоже полупустая, и коробок спичек, где спичек всего десяток. Еще при нем находят два билета: на автобус (использованный, до Гленелга — это пригород Аделаиды) и на поезд (неиспользованный, до станции Хенли-Бич, что в десяти милях от Аделаиды на запад). Вскрытие показывает, что мужчина — судя по всему, лет ему от сорока до пятидесяти — умер в два часа ночи 1 декабря от неизвестного яда. Последним, что он ел, был пирог корниш, но яд содержался не в нем. Селезенка в три раза больше нормы, мозг и печень содержат следы бурного прилива крови, пищевод покрыт белесым налетом, причем в середине его имеется язвенное воспаление, а в желудке — признаки острого гастрита. Отпечатки пальцев удалось снять, но ни в одной картотеке — ни в Австралии, ни за ее пределами — найти их не удалось. 14 января 1949 года на железнодорожном вокзале Аделаиды был обнаружен чемодан со срезанным ярлыком, в котором лежали красный купальный халат, резиновые тапочки того же цвета сорокового размера, четыре пары плавок, коричневые брюки с песком в манжетах, пижама, бритва, отвертка, кисть для трафаретной печати и катушка ниток того же цвета и фактуры, какими была пришита заплатка в кармане брюк неизвестного. Таких ниток в Австралии не

продавали, халат тоже был, судя по всему, американский (в других странах таких не шили), но все метки опять же аккуратно срезаны. Удалось восстановить примерный маршрут неизвестного из Сомертона, как его уже именовали в газетах: он приехал ночным рейсом — вероятно, из Мельбурна или Сиднея; купил на вокзале билет до Хенли-Бич; пошел в городскую баню, побрился, принял душ, на поезд опоздал и купил билет на автобус до Гленелга; дальше, видимо, бродил по Гленелгу — но обувь у него была подозрительно чистой. Появилась версия, что на пляж его откуда-то доставили. Что он делал до вечера 30 ноября — неясно; следов рвоты — неизбежных при отравлении — возле тела не было. Состав яда так и не был определен, что породило версию о высокопрофессиональных мстителях либо о самоубийстве, причем мужчина из Сомертона, по всей вероятности, имел доступ к малоизвестным и редким веществам; это запустило версию о возможной причастности к делу спецслужб, поскольку столь засекреченный персонаж (не подтвердилось ни одно из двух с половиной сотен заявлений о его возможной личности) явно не мог быть заурядным австралийцем либо туристом. Никто не только не заявил о пропаже человека со сходными данными — все, за кого принимали человека из Сомертона, либо благополучно

здравствовали, либо никак не подходили под его данные. Имелась у него, кстати, особая примета, по которой и отсеяли большинство кандидатур: верхняя часть ушной раковины больше нижней, каковая патология встречается лишь у двух процентов землян, и плюс гиподантия (что не всегда, конечно, сочетается с патологией раковины): у него не было шестнадцати зубов, и по большей части это не приобретенное, а врожденное.

Лишь летом, при очередном осмотре одежды неизвестного, в потайном кармане его брюк обнаружился клочок бумаги с надписью «Tamat shud», в честь которой теперь и будет называться все это дело. Библиотекари дали справку: эта надпись — латиницей на арабском — венчает собой полное издание «Рубайята» Омара Хайяма и означает: исполнено, свершено, конец. Лист вырван из редкого издания — «Рубайят» в английском переводе Эдварда Фитцджеральда, изданный в Новой Зеландии. Когда об этой находке рассказали газеты, в полицию явился некий врач (фамилия его не публиковалась), якобы обнаруживший этот экземпляр с вырванной последней страницей на заднем сиденье своей — внимание! — открытой машины, которую он ненадолго оставил в Гленелге 30 ноября. На том же экземпляре нашлось пять строчек (одна зачер-

кнута) бессмысленных букв с преобладанием согласных, а также телефон некой медсестры, проживающей в Гленелге недалеко от сомертонского пляжа. Медсестра, вероятно, имела доступ к любым отравляющим веществам. Она не смогла опознать неизвестного из Сомертона. Книга, как она утверждала, действительно у нее была, но она подарила ее еще в 1945 году лейтенанту австралийского флота, однако этот лейтенант не имел ничего общего с незнакомцем из Сомертона. Вдобавок он нашелся, и книга — с дарственной надписью медсестры — сохранилась у него в совершенной целости, с нетронутой последней страницей. Правда, фигурировала такая книга еще в одном странном случае, о котором Ингмар Т. читал отдельно, без связи с гленелгской историей: в 1945 году в одном сиднейском пригороде был найден мертвым в ванне брат сингапурского политика (впоследствии премьера) Дэвида Маршалла. Этот брат, Джозеф, был отравлен или покончил с собой (официальная версия — самоубийство), и на груди у него лежала та самая раскрытая книга — новозеландское издание «Рубайята». Через две недели после окончания следствия одна из свидетельниц была найдена мертвой, тоже в ванне: она лежала лицом вниз, с разрезанными запястьями.

А что всего удивительнее, свидетелем по делу неизвестного из Сомертона выступал Кейт Вальдемар Мангноссон, который утверждал, что погибшего якобы звали Карлом Томпсеном и они вместе работали в 1939 году. А в июне 1949 года некий Нил Мак Рэй увидел, по его словам, во сне, что неподалеку от его дома лежат два трупа — отец и сын. Он обнаружил в приснившемся ему (будто бы?) месте — в двадцати километрах от Сомертона — мешок, в котором лежал мертвый сын Мангноссона, Клайв, умерший явно насильственной смертью — но какой, эксперты не сказали. Больше всего это было похоже на отравление. Мангноссон-старший лежал рядом без сознания. Когда его привели в чувство, выяснилось, что он вообще ничего не помнит о происшедшем. Его отправили в сумасшедший дом, откуда он уже не вышел, а его жену преследовал на кремовом автомобиле незнакомец, сказавший ей, чтобы она держалась подальше от полиции. Нижняя часть лица этого незнакомца была заматана платком цвета хаки.

Уже в начале семидесятых новые следователи — поскольку тайна Сомертона продолжала будоражить умы — обнаружили, что сын таинственной медсестры страдает гиподантией и обладает той самой патологией формы уха, кото-

рая была замечена у неизвестного; вероятность случайного повторения обоих этих признаков составляет менее одной двадцатимиллионной. Когда Ингмар Т. заинтересовался этим сообщением, медсестра была еще жива и даже сравнительно молода, но местонахождение ее тщательно скрывалось.

Казалось бы, налицо опять шпионаж, да? Спецслужбы, все дела. Но Ингмар Т. был не простым, а начитанным сыщиком. Он обращал внимание не на поверхностные, а на системные признаки, а все потому, что прочитал роман Лема «Расследование». Из этого романа он усвоил, что мы, как правило, не можем проследить причины событий, но лишь комплексы сопутствующих им обстоятельств. Пример: в романе «Расследование» в разных частях Англии (конец пятидесятых) происходят таинственные вещи — трупы в моргах застывают в изломанных позах, словно они передвигались самостоятельно (или кто-то их так изобретательно разложил). Потом, в следующих эпизодах, они начинают исчезать. При этом ночь всегда туманная, поблизости непременно проезжает крупный автомобиль, и обнаруживается маленькое животное — котенок или щенок. Причины нет, или, точнее, мы не знаем, что было причиной. Мы знаем только, что на-

лицо повторяющиеся сопутствующие признаки, а что из них служит первопричиной, не знаем.

И тогда Ингмар Т. обнаруживает ряд сопутствующих признаков, не имеющих отношения к спецслужбам, поскольку вечная отсылка к спецслужбам, действиями которых конспирологи объясняют все подряд, представляется ему классическим ложным следом. А замечает он, что оба безымянных тела были обнаружены на склонах холмов (неизвестный из Сомертона лежал на спуске к пляжу), в последние дни сезона (осени — в Норвегии, весны — в Австралии) и при них найдены странные металлические предметы — серебряная ложка при ней, столовый нож-заточка при нем. Что-то ему все это напоминает, что-то недавно прочитанное и сильно его впечатлившее... но что? Однажды ночью он вскакивает как от толчка: внезапно ему вспоминается дело о свинцовых масках, в котором вовсе уж нет никакого просвета.

20 августа 1966 года бразильский подросток пускал воздушного змея вблизи Нитероя, у подножия холма Винтен, и наткнулся на два мужских трупа, уже разлагавшихся. В них опознали двух радиотехников из Кампуса-дус-Гойтаказиса, входящего в муниципалитет Рио-де-Жанейро. Ми-

гелю Жозе Виана было 34, Мануэлю Перейре да Крузу — 32. Оба были одеты в безупречные деловые костюмы, как и неизвестный из Сомертона. Правда, поверх них были непромокаемые плащи. Никаких признаков насильственной смерти на их телах не было. Оба лежали на подстилке из веток, срезанных ножом, которого, однако, не обнаружилось. На обоих были свинцовые полумаски — видимо, самодельные. Они хранятся теперь в музее полиции Рио-де-Жанейро. С помощью таких масок обычно защищаются от сильного излучения. Мануэль сказал жене, что поедет в Сан-Паулу за запчастями к телевизорам. Потом их видели в Нитерое — они нервничали, Мануэль все время смотрел на часы. В мастерской, где они чинили телевизоры, нашли книгу по спиритизму, в которой были подчеркнуты слова «яркое свечение» и «маски» (там, где речь шла о визуализации призраков). При убитых (или погибших?) была обнаружена странная записка: «16:30 быть в условленном месте. 18:30 проглотить капсулу. После эффекта ждать сигнала в защитной маске» (дословно «защита металлов ждать сигнала маска», но эту невнятицу можно списать на поспешность).

Токсикологическая экспертиза не выявила следов «капсулы», хотя проводилась она, похоже,

невнимательно. Зато всплыла аналогичная ситуация 1962 года, не получившая огласки, поскольку ее приняли за самоубийство: там был найден мертвым в такой же маске телемастер Эрмес, который незадолго до смерти, по свидетельству жены, тоже принимал какие-то «таблетки». Как он был одет, никто не помнил, да и вообще его смерти никто не придавал значения: он тоже интересовался спиритизмом и считался чокнутым. Он верил, что человеческий мозг может принимать и передавать радиосигналы, но результаты своих экспериментов скрывал. Незадолго до последнего эксперимента он попросил зубного врача — внимание, латиноамериканского зубного врача! — поставить ему металлическую пломбу, с помощью которой он намеревался ловить радиосигналы.

Склон холма. Металлический предмет (защита металлов). Безупречно одеты. Нервничали перед смертью. Никаких следов обычного яда. Шифрованные записи/таинственная записка/ключок с непонятной надписью. Он начинает все это соединять, отыскивать смысл в совпадениях, датах, названиях мест. Несомненно, орудует сеть; несомненно, все эти люди заняты общим таинственным делом. Ему представляется та настоящая жизнь, мимо которой мы всег-

да ходим, но которую всегда подозреваем, подразумеваем; та, которую — но этого он не знает — вывел в последнем романе Пинчон, назвав ее сетью внутри сети, потайным интернетом, в котором живут души умерших: Deer Archer — или Departure, тайный лучник, разлучник. Где-то есть тайная, ужасная и прекрасная жизнь: роковые женщины, приехавшие из ниоткуда, отели, внезапные переезды, незнакомцы в безупречных костюмах, явные иностранцы; где-то есть настоящий двадцатый век, подлинная реальность, страшно напряженная, никогда не показывающаяся нам. Есть немотивированные поездки в ночных экспрессах и междугородных автобусах, неизвестно кем назначенные встречи, служения тайным культам, сбор сведений в пользу несуществующих или тайных государств. Звезды, все время звезды, складывающиеся в незнакомые конфигурации. Вся эта сеть подлинной жизни и настоящих людей, на которых никто не обращает внимания, тайное общество женщин, с которыми спят и про которых ничего не понимают, особые отели, в которых требуют номер с балконом, чтобы обозревать подозрительных, или без балконов, непременно без балконов, чтобы подозрительные не могли влезть ночью, — все это подлинное, страшное, связанное с миром незримого непременно существует где-то

рядом с нами, и мы подозреваем о существовании всего этого; но нас туда не пускают, и вестники из этого параллельного мира попадают на глаза, только когда их уже ни о чем не спросишь.

Он отправится в Литерой.

Бог знает, что ждет его там.

Чудес я видел много, но не обо всех могу рассказать. Слово «целомудрие», может быть, плохо монтируется с моей внешностью и манерами, но как иначе назвать то чувство, которое мешает мне говорить вслух, например, о чудесах блаженной Ксении Петербургской? Все, кто обращался к ней за помощью, знают, что народное обозначение «скорая помощница», приставшее к ней, кажется, еще при жизни, абсолютно справедливо. Ксения помогает в самых неразрешимых ситуациях: я был тому свидетелем и сам ее просил о спасительном вмешательстве, она действительно творит чудеса, и если фанаты писали на ограде ее часовни: «Блаженная Ксения, сделай, чтобы «Зенит» победил!», то ничего смешного и кощунственного в этом нет: если люди хоть так приходят к вере, то и слава богу. Я не

могу рассказывать о конкретных случаях, это нескромно и неблагодарно. Просто говорю, что блаженная Ксения — это самая скорая и верная помощь, какая бывает. А рассказать я могу о других вещах, с религией никак не связанных, но от этого не менее таинственных.

Например, у растений есть такое приспособление к среде — ярусность. На каждом ярусе в лесу своя жизнь, и у каждого свой способ опыления. Эта ярусность странным образом сохраняется и в человеческой среде, делая нашу жизнь окончательно похожей на лес. Приведем пример. Один мальчик лет тридцати пошел с девочкой лет двадцати в большой петербургский книжный магазин. Она пошла смотреть биографии, потому что ей в ее студенческом еще возрасте было нужно делать реферат по Линкольну, а он — в зарубежную фантастику. А поскольку магазин был лабиринтообразный, со множеством загибов и переходов, и был еще такой истинно петербургский ноябрьский день, когда темнота за окнами сгущается к четырем часам дня и начинает давить на стены зданий, так что в этих зданиях люди запросто сходят с ума — то они там и потерялись, причем капитально. Он идет в отдел биографий — ее там нет, она — в отдел художественной литературы, а там кто угодно, кроме

него. В частности, там какой-то бывший однокурсник, который перевелся потом в другой вуз, вообще в Москву, но сейчас неожиданно приехал, и ей там встретился, и предложил попить кофе, но ей было не до того. Она взяла у него новый телефон и дала ему свой и пошла дальше искать своего мальчика. Посмеявшись над конфузливостью этого положения, она ему позвонила, но у него отключен был мобильник, потому что сел. Айфоны всем хороши, но быстро разряжаются. Тем временем мальчик упросил продавщицу ненадолго подключить его к зарядке, и стал заряжаться, и позвонил девочке по айфону, и она сказала, что давай встретимся на первом этаже у большой такой чаши из мрамора, символизирующей, вероятно, всемирное знание. Но как бы ни было велико всемирное знание, тем не менее всего оно не знает. Потому что мальчик и девочка прождали там друг друга полчаса и не увиделись, хотя стояли рядом. Может быть, он отвлекался, а может быть, она думала об однокурснике, так чудесно изменившемся к лучшему: питерские в Москве почему-то очень расцветают. Но как бы то ни было, они не увиделись там и не встретились больше никогда. Может быть, на первом этаже было две чаши, символизирующих два вида знания: одно мы понимаем, а другое нет.

Я не оговорился: есть действительно два вида знания. Одно у нас, так сказать, отрефлектировано, мы понимаем, как работают те или иные закономерности, и даже умеем их исследовать. Но есть другое, которое мы получаем с рождения или накапливаем эмпирическим путем, хотя совершенно не понимаем, как это работает. Нильс Бор повесил над порогом подкову, а был при этом физик, рациональный человек. Однажды его корреспонденты спрашивают: неужели вы, физик, нобелевский-шнобелевский и бог знает какой лауреат, верите в такие вещи? Он говорит: а она, знаете, работает независимо от того, веришь ты или нет. Его московский друг Ландау своим высоким насмешливым голосом говаривал: «Современная физика может объяснить даже те вещи... которые не может представить». И вот в числе наших знаний о мире есть догадка о ярусности нашего существования, о тайном — несоциальном, неинтеллектуальном даже — разделении всех людей на группы и страты; и Бог устроил так, что люди разных ярусов почти не пересекаются. Иначе жизнь стала бы невозможна, потому что богатые все время убивали бы бедных, без всякой злобы, из чистого чувства вины; а бедные своими робкими, бедными ручонками поколачивали бы богатых (у бедных нет времени качаться в фитнес-клубах); а тупые порыва-

лись бы объяснять умным, что всю правду о мировой экономике и заговоре англосаксов знают Линдон Ларуш и Николай Стариков, пророк его. И бедным умным людям приходилось бы выслушивать этот злобный бред. Кстати, Николай Стариков не читает «Русский пионер», и это еще одно проявление ярусности, и я могу без всякого риска сказать тут про него, что он озлобленный смешной недоумок. Удивительно, что гугл и Яндекс тоже соблюдают ярусность и не докладывают некоторым людям о некоторых публикациях, чтобы не портить им настроение и не засвечивать авторов. И в интернете — где, казалось бы, все равны, как на помойке и в бане, — тоже немедленно выстраиваются иерархии, этажи, вертикальные и горизонтальные ниши, и умный не забредет к дуракам и не порушит их уютный мир, в котором все на свете имеет максимально простое и противное объяснение.

Что случилось с мальчиком и девочкой из петербургского книжного магазина? Эта история абсолютно подлинная, хотя я не был ни тем мальчиком, ни тем однокурсником. Я был другом той девочки, чистый интеллектуальный треп и ничего личного. С ними случилось то, что я предпочитаю называть расслоением, и именно так назову когда-нибудь повесть об этом странном про-

исшествии. Люди иногда уходят на другой план реальности, как у Бориса Рыжего: «Россия — старое кино. Когда ни выглянешь в окно, на заднем плане ветераны сидят, играют в домино. Когда я выпью и умру, сирень заплещет на ветру, и навсегда исчезнет мальчик, бегущий в шортах по двору. И густобровый ветеран засунет сладости в карман и не поймет: куда девался? А я ушел на первый план». Чтобы уйти на первый план, обязательно умирать — можно просто переместиться в другую среду или, если угодно, на другой уровень: этот процесс мгновенен, готовится он годами, а завершается в какой-то один роковой миг. Так разводило меня с большинством друзей. И разве не замечаем мы, что с некоторыми женщинами тоже расстаемся мгновенно и окончательно, безвозвратно? Ведь иногда расставание тянется годами, и тогда оба успевают измучиться и наговорить друг другу мерзостей. А иногда раз — и обрубил, и необязательно для этого, скажем, переезжать в Америку. Бывает так, что живете в соседних домах, но разошлись, и ап! — даже в одном магазине никогда не пересечетесь. Хотя ходите туда постоянно. Как сказал другой поэт: «И мы стояли за куском вареной колбасы в один и тот же гастроним, но в разные часы».

Приведем другой пример: я сильно любил одну девушку, действительно сильно. Она и сейчас кажется мне не то чтобы самой красивой, но, что ли, наиболее совпадающей с моим идеалом женской красоты, наиболее похожей на Алю Эфрон. В том, что она сильно испортилась с годами — не внешне, а внутренне, — виноват, наверное, я сам. Но она сделала и сказала несколько вещей, которые меня в конце концов, пусть и не с первой попытки, достали. И дальше случилось одно из тех, как выражается Лем, «жесточих чудес», которые я часто наблюдал и никогда не мог объяснить. Она стала исчезать, ее словно стерли из реальности. Она сменила телефон, чтобы я не мог ей позвонить, перешла на другую работу, о которой я ничего не знал, и даже переехала. Мы по роду своих занятий должны были хоть раз пересечься в какой-нибудь тусовке, но то ли она перестала тусоваться, то ли ее новая работа предполагала общение с другой средой. Наконец она исчезла из интернета — единственным ее следом там осталась наша совместная публикация под ее прежней фамилией. То есть она ушла на какой-то другой план, на котором мне ее не видно, и слава богу. Желание умирает последним, и даже отлично все про нее зная, даже очень хорошо помня некоторые ее поступки, я все равно пытался бы, наверное, спя-

ну до нее дозвониться и как-нибудь, может быть, уложить ее в постель. Потому что это было нечто совершенно особенное, испытанное мной, должно быть, раза три-четыре в жизни, — чтобы человек мне так нравился, чтобы я так все про него понимал, чтобы секс был не просто трением общеизвестных трущихся частей, а тем самым «продолжением разговора на новом, лучшем языке». Я потом, конечно, несколько раз испытал это с гораздо большей остротой, которую, наверное, уже вообще никогда не переплюнуть. Есть, кстати, замечу на полях, единственно возможный способ действительно качественно описать секс — воспроизвести те мысли, которые при этом приходят. Какие-то приходят обязательно. Так вот, с ней приходили самые чистые, самые ясные. Это действительно было похоже на вдыхание чистейшего кислорода. И я бы обязательно пытался до нее дозваниваться, с ней контактировать — кто же спяну не делает таких вещей, а иногда, знаете, и стрезва накатит, — но Бог меня спас. Она исчезла бесследно. Я ничего про нее не знаю и знать не хочу.

Чудо заключается в том, что люди разных уровней — опять же это не уровни ума или богатства, а бесконечно более тонкие градации — друг друга не видят, не знают и не занимаются

взаимным уничтожением. Например, у некоторых людей — как правило, очень агрессивных, страшно ограниченных и довольно подлых — я вызываю отвращение еще до того, как что-то скажу. В принципе, у них вызывают отвращение все, потому что никаких эмоций, кроме отвращения и периодической пьяной эйфории, они в принципе не испытывают. Но другие успевают хоть что-то сказать или сделать, а меня такие люди опознают мгновенно: не потому, что я хорош, а потому, что совершенно не вписываюсь в их картину мира. Меня просто не должно быть. Мы с ними распознаем друг друга мгновенно, и наше единственное спасение друг от друга — это принадлежность к разным кругам. Кроме того, я умею делаться иногда невидимым для таких людей, выключать себя из их темпа восприятия, потому что восприятие у них медленное — а я начинаю мелькать у них перед глазами ровно так, как учат разведчика на бегу: все время отклоняться в разные стороны, «качаться». Это описано в «Моменте истины» у Богомолова, а Богомолов в плане военной разведки был очень профессиональный человек.

Я вообще довольно легко рву с людьми, по крайней мере с некоторыми, потому что подавляющее большинство их не очень-то мне и нужно

(но зато остальные нужны действительно очень сильно, просто до полной невозможности обходиться без). И вот с этими людьми, с которыми я вдруг порвал потому, что они меня подставили или сделали какую-то вещь, которая для меня несовместима с дружбой, я немедленно перестаю пересекаться, причем без всякой моей воли. Я хожу в те же места, выступаю на конференциях в тех же университетах, пересекаю те же улицы, в конце концов. Мне даже случается пить в общих компаниях. Но эти вычеркнутые персонажи не появляются больше никогда, и если бы вы знали, какое облегчение я испытываю при одной мысли, что не возникнут эти идиотские неловкости, что не надо будет ничего говорить или делать вид, что все по-прежнему! Развело по разным ярусам — и слава богу, и это чудо, к которому никто из нас не прикладывал рук, восхищает меня больше всех технических чудес, всех магических гаджетов, которые я тоже очень люблю. Вот то, что ездят сегвей или соловил, — безусловное чудо, но разве не чудесней тот факт, что я с девушкой Сашей ходил по одним и тем же улицам, сидел в одних кафе и даже участвовал в одной программе — и ничего не замечал, а потом однажды взглянул на нее внимательно — и подумал: господи боже мой! Почему же это не случилось раньше, почему мы потеряли столько

времени? А только потому, что не были готовы, морально не дозрели. И вместо того чтобы гармонично и счастливо прожить год, мы бы только мучили друг друга претензиями и ревностью. А потом случился эволюционный скачок, жизнь сделала с нами что-то такое — и мы взглянули друг на друга просто среди заброшенного желтыми листьями московского двора, среди ясеней и чуть ли не в один голос воскликнули: «Господи боже мой!» И когда мы вдруг, не дай бог, разойдемся из-за какой-нибудь смертельно важной ерунды — потому что важна именно такая ерунда, а не всякие там сакральности, — мы никогда больше не увидим друг друга, хотя продолжим ходить по тем же улицам. Никогда не войдем в одно кафе, не сядем в одну машину. Это и называется у Лермонтова «Но в мире новом друг друга они не узнали». Потому что если бы в раю все друг друга узнавали — это был бы уже не рай, а страшно сказать что.

Любимые комплименты в стане почвенников — несуетный, неспешный, неторопкий, раздумчивый. Писатель этого направления ходит по родной земле неторопко, оглядчиво, пишет несуетно, не стремясь угодить всяким там. Всякие там меняются, но всем им он одинаково не старается угодить. Нет, дело свое на земле он делает раздумчиво, как опытный плотник ладит основательную избу (хотя русский плотник как раз ладит избу очень быстро, потому что климат у нас такой — не больно раздумаешься: не успел неторопко сладить сруб, как надо уже где-то прятаться от холодов). Вообще, эта любовь к медлительности — какая-то очень нерусская, привозная, откуда-то из Германии или даже от поганых англосаксов: русские, напротив, хоть и долго запрягают, но быстро ездят, и действительно любят быструю езду, и стремительно соображают, и заканчивают пя-

тилетку в четыре года, и даже сравнительно быстро кончают (я читал у разных сексологов, что дольше всех могут не кончать французы, замыкают десятку финны, а русские вообще в нее не входят, потому что скучно же! И вообще, в наших условиях столько всего надо переделать — невозможно слишком долго заниматься чем-то одним).

У тех же почвенников считается особо суетным писать быстро и успевать много. По счастливому выражению одного поэта, вид у этих традиционалистов «такой серьезный, важный, деловой, как будто хочет пукнуть головой». Задуматься над элементарным вопросом, не среагировать на простейшую подколку, с мучительной натугой подавать реплики — это да, это они могут; пять, а то и десять лет ваять ходульный роман из жизни колхозной деревни — это да, взыскательность художника; а намекни им кто-нибудь, что их любимый Шолохов (я абсолютно верю, что сам) первые три тома «Тихого Дона» написал за семь лет, а один второй том «Поднятой целины», из рук вон слабый, писал двадцать... Когда работа в радость, или когда мучительно выбрасываешь из себя самую невыносимую мысль, или когда лечишься этой работой от жгучей и нестерпимой любви — так все и делается стремительно, и пробка из чернильницы, писал Набоков, выска-

кивает, как из шампанского. А когда вяло себя насилуешь, выполняя заказ или надоевшее самому обязательство, — вот тогда и приходится повторять окружающим на вечный вопрос — когда же, мол, — любимую шолоховскую поговорку: скоро, мол, робят, слепых родят... Хотя все лучшие тексты в русской литературе (про мировую не скажу, есть медлительные и томные народы) были написаны стремительно, в результате чего классическая русская литература — весь золотой век ее! — создана за сто лет. Ведь это помыслить невозможно, что между «Ябедой» Капниста и «Дядей Ваней» Чехова прошло именно столько: у любой европейской литературы на такой путь ушло бы три-четыре века. А вы говорите — несуетно. При слове «несуетно» мне представляется пожилой писатель-патриот с внешностью типичного аппаратчика: он приехал в родное село, решил босиком пройти по траве, долго потом сидит на крыльце и колукает неспешной рукою между пальцев ног, поколукает, понюхает и опять поколукает, и все это обдумчиво, неторопко.

Допустим, скажете вы, но разве суета — это хорошо? Ничего хорошего, отвечу я вам с полной честностью. Могу вам описать мой сегодняшний день. С утра я собирал справки для трудоустройства на журфак МГУ, где когда-то учил-

ся, а теперь читаю лекции. Надо заполнить пять подробнейших анкет, пятикратно указав все свои данные, в особенности ИНН и пенсионное страхование, плюс предоставить полный перечень своей родни с датами рождения и девичьими фамилиями (if are). Еще надо отксерокопировать свой диплом, представить полный список научных публикаций, сфотографироваться и представить справку о несудимости. Когда я устраивался в МПГУ, где тоже преподаю литературу, справка о несудимости была хоть как-то понятна: дети же, и работать им тоже с детьми, мало ли, вдруг научу чему-то не тому. Но здесь, на журфаке, где профессиональный риск должен входить в перечень неперенных добродетелей... И предоставить все это надо в строго определенное время, потому что отдел кадров работает по прихотливой схеме: четыре дня в неделю. В пятый у них, видимо, особый русский шаббат. Хотя вроде и планируется запретить продажу алкоголя по пятницам. И тогда непонятно, что они вообще будут делать: работать нельзя, а выпить не купишь. Медитировать над документами, собранными в предыдущие четыре дня? С ума сойдешь...

Правда, все они там очень милые люди, отличные, с юмором, хорошо понимающие бессмысленность собственной работы и глупость всех этих

советских непрерывных вопросов о том, служил ли я в армии и какой у меня номер военно-учетной специальности. Милитаризованность советских анкет беспрецедентна — видимо, мы по природе своей действительно воюющее государство и каждый должен быть готов к мобилизации в любой момент, хоть бы и с лекции на журфаке. Выписка и справка нужны на каждый случай, на любое событие, и удивительно еще, что не требовали с меня свидетельство о браке — любимый документ, поскольку он напоминает об одной из моих действительно серьезных удач. Вот как объяснить это почти поголовное презрение к закону и фантастическую скрупулезность, с которой всякий кадровый отдел и любой начальник собирают с нас такие груды бумажной информации? За время, посвященное сбору информации и отвозу ее по месту требования (плюс справка с работы о совместительстве), я бы не одну, а пять лекций прочел, — но тут-то и настигает меня мучительная мысль: зачем? Не надо.

Русская суета, которой действительно очень много, совершенно необходима, чтобы отвлекать русского человека от главного. Потому что, если русский человек начнет работать в своем обычном темпе и в полную силу, он уничтожит Россию, не рассчитанную на такую эффективность.

Он сделает революцию, разрушит государство, обустроит территорию — а Россия нужна миру совсем не для этого. Она задумана как стена, об которую все разбивается, или как болото, в котором все увязает; своего рода улавливающий тупик, столь знакомый всем, кто ездил на машине в горах. Если у вас отказали тормоза, что на горной дороге почти смертельно, вы всегда можете свернуть в улавливающий тупик, где машина хочешь не хочешь, а заглохнет. В улавливающем тупике России застряли просвещение с его смертельными французскими рисками, коммунизм с его тупой прагматикой, фашизм с его зверством. Что сюда ни попадет — непременно увязнет. Точно так же вязнет в России инициатива ее умных, фантастически талантливых и трудоспособных граждан: если бы все эти инициативы воплотить и не тормозить, у нас давно была бы величайшая и богатейшая страна мира. Но задуман улавливающий тупик, и вот мы колотимся о ватные стены.

В России гениально выработана культура отвлечения человека от созидательной работы — и привлечения его, допустим, к бюрократической волоките, невыносимой, но спасительной. Что такое, в сущности, суэта? Это отказ от внутреннего контакта с собой ради выполнения

внешних задач. Когда человек стремительно пишет книгу за книгой или покоряет девушку за девушкой — это не суета, а творческий поиск. Суета — это любые действия, направленные на сбор справок, предоставление финансовой отчетности, поиск двадцати пяти подтверждений собственного существования, — вместо того единственного, ради чего это существование вообще нужно. Но если бы русский народ жил, а не существовал, то есть свободно выбирал своих начальников, менял их при необходимости, расправлялся бы с ворами и не тратил жизнь на бесконечные глупости, абсурдные даже на взгляд собственных наших руководителей, — он бы уже, может быть, разрушил и мир, и себя. Мы все негодуем, что не живем, — а в конце жизни знаете что бывает? Может быть, наше хроническое воздержание от жизни и есть высшая ее форма? И тотальное отвлечение народа к политике — это и есть способ жить вечно, а столь любимая патриотами несуетность, неторопкость, вязкость — это и есть наш оптимальный способ существования? Весь мир стремительно пройдет свой путь, называемый историей, а мы, всю жизнь воздерживаясь от нее, понимаем что-то гораздо более важное?

— Все тлен и суета, — говорит русский человек обо всем действительно важным, а на вся-

кую чушь, отнимающую силы и нервы, тратит бóльшую часть жизни с гордым сознанием своего мученичества, и это, как хотите, неспроста.

Не поэтому ли нашим главным национальным ориентиром, рыцарем-монархом стал сегодня Николай I, на смерть которого Тютчев отозвался не эпитафией, а эпиграммой:

*Не Богу ты служил и не России,
Служил лишь суете своей.
И все дела твои, и добрые, и злые,—
Все было ложь в тебе, все призраки пустые:
Ты был не царь, а лицедей.*

Служил лишь Суете своей, с большой буквы, — может быть, так и надо? И пока весь мир проходит некий непонятный и бессмысленный путь, русские всячески воздерживаются от него — чтобы в конце истории, а точнее, после истории свершить наконец свое великое дело, ради которого мы и задуманы?!

Ради этого великого предназначения можно еще тысячу лет имитировать любое занятие, терпеть рабство и собирать справки.

Вопрос о том, что делает с человеком время, несколько сродни тому, который решал для себя Набоков: что он утратит и что приобретет, переходя на другой язык. «Телодвижения, ужимки, ландшафты, томление деревьев, запахи, дожди, тающие и переливчатые оттенки природы, все нежно-человеческое (как ни странно!), а также все мужицкое, грубое, сочно-похабное, выходит по-русски не хуже, если не лучше, чем по-английски; но столь свойственные английскому тонкие недоговоренности, поэзия мысли, мгновенная переключка между отвлеченнейшими понятиями, рое-ние односложных эпитетов — все это, а также все относящееся к технике, моде, спорту, естественным наукам и противоестественным страстям — становится по-русски топорным, много-

словным и часто отвратительным в смысле стиля и ритма».

Насколько могу заключить из нерегулярных и приблизительных самонаблюдений (если долго за собой наблюдать — с ума сойдешь), более или менее постоянными остаются только вещи, связанные с профессией, то есть машинальные, доведенные до автоматизма и управляемые в основном тщеславием. Как, чтобы я да с этим не справился? Я ехал однажды в машине со страшным мужиком, который, постоянно сбиваясь с одной темы на другую и грозя неопределенным врагам, всюду за ним следящим, рассказывал, что в багажнике у него лежат три отрезанные человеческие головы и связано это с тем, что он бил на севере тюленей, но кто-то с ним неправильно рассчитался, потому что это интерес тайный, международный интерес! Об этих делах знал маршал Шапошников! У мужика была клочковатая борода, утиный нос и выражение сосредоточенной злобы на болезненно-желтом лице. Я плохо его разглядел, не то бы, конечно, не сел к нему в «Жигули». Но удивительно, что вез он хорошо, Москву знал, не рисковал понапрасну, — то есть профессиональная сфера в его изуродованном мозгу была цела.

Первая жена рассказывала мне, что, когда ее дед-агроном (они почему-то всегда долгожители) в девяносто лет впал в полный маразм и все время ловил каких-то бегающих по нему куриц, вернуть его ненадолго к реальности можно было, спросив, например, какую почву предпочитает дуб. Прояснев лицом, он внятно отвечал: «Подзол».

Все, что касается работы в номер, интервью, подписи к фоткам, колонки, которую можешь написать практически в любом состоянии, остается неизменным и умирает последним. Серьезное отношение к этому постепенно эволюционирует, а потом исчезает. Вообще — это, впрочем, может быть следствием всяких чисто российских перемен последнего десятилетия, — как-то перестаешь всерьез думать, «что от тебя останется». Очень может быть, что ни от чего не останется вообще ничего. Соответственно мутирует и главное — желание или нежелание писать. Я действительно затрудняюсь ответить, эпоха тут виновата или возраст, но я уже почти уверен (особенно это обострилось после сорока), что перед цунами полы не моют. Можно разложить паянс, погулять с сыном, хотя сыну это вряд ли нужно, или покататься на сегвее, напоминая себе, что он у тебя есть.

Раньше мне казалось ужасно досадно, что вместе со мной умрет куча важных воспоминаний — никто же, например, больше не помнит татарина Яшу, мясника из палатки, которую снесли, когда мне было четыре года. А поскольку я помню себя с семи месяцев — четко вспоминаю, как сижу на руках у матери и она на вопрос медсестры о моем возрасте отвечает: «Семь», и медсестра повторяет: «Сем» — без мягкого знака, так многие говорят, — поскольку я помню себя очень рано, то и Яша с его одышкой и бородавкой на носу стоит передо мной очень ярко, и вряд ли кто-то еще помнит его, и вряд ли он дожил до девяноста, так что больше нет ни его, ни палатки, и даже место, где она стояла, застроено. Значит ли это, что мое воспоминание о нем бесценно? Нет, со временем оказалось, что оно не имеет никакой цены, и я заметил это почти даже с облегчением. Это значит, что можно больше не удерживать в голове огромное количество вещей, которые так отягощали память, — всех, кого не помнит больше никто. Например, я живу напротив ботанического сада МГУ, и там одно время продавали выросшие там мелкие, но вкусные яблоки, иногда груши, сливы, и женщина, которая их продавала, была молодая и добрая и звали ее Галя. Ее тоже, наверное, боль-

ше никто не помнит, а я помню, она всегда давала мне яблоко. И потом вместо нее появилась другая продавщица, тоже добрая, но не такая молодая и красивая, — она-то и сказала мне и моей няне Лене, что Галя умерла от рака. Наверное, никто уже не помнит ее сейчас, вряд ли она еще кому-то дарила яблоко, — но я понимаю теперь, что ее и не надо помнить. Бог помнит все, каждое яблоко, а людям это не нужно. Вся наша память ничего не стоит, не имеет никакого смысла. Я не знаю, как это выразить и доказать. Ощущение у меня примерно как у того сумасшедшего, который застыл в кататоническом приступе: он стоял с вытянутой вверх рукой и крепко сжатым кулаком. Про него говорили, что это кататонический ступор и что он впал в него произвольно, но сумасшедший-то знал, что у него в кулаке нити от всех звезд и планет и если он разожмет кулак — они разлетятся, как воздушные шары. Так вот, после сорока я начал все отчетливей чувствовать, что могу разжать этот кулак, — не потому, что у меня нет там ниточек от планет и звезд, а потому, что, если они разлетятся, ничего особенного не случится. Ну разлетятся и разлетятся, и бог с ними совсем.

По этой же причине с годами обычно проходит обсессивно-компульсивный синдром, он

же синдром навязчивых ритуалов. В принципе, я залезаю не на свою территорию, впадаю в некоторое Бильжо, но об этом синдроме пишут не только психиатры. Кинг вон какую повесть о нем написал — называется «N», хотя «Числа» Пелевина про то же самое и все равно лучше. Просто этот синдром излечим, и он, пожалуй, единственное, от чего время действительно лечит. Понимаешь, что все твои попытки спасти мир, определенным образом считая шаги, и уцелеть самому, касаясь двери, стены и стола в правильной последовательности, ни к чему не ведут. Все будет правильно. И если ты чувствуешь это «правильно», все у тебя получится, а если не чувствуешь, не помогут никакие импульсии.

Время отлично справляется со многими прекрасными, хотя невыносимыми вещами: например, острейшей, хотя и сладостной, тоской, которая меня посещала время от времени в детстве. Идешь на даче с пруда на закате, видишь этот закат, синее и красное небо в черной, идеально гладкой поверхности, в просветах среди зеленой ряски, — и чувствуешь, как холодает, и видишь, как в дачных окнах зажигается свет, и на контрасте этого холода и уюта такая тоска вдруг буквально заполняет тебя без остатка,

проливается прямо в позвоночник! И все это, наверное, от мысли о том, что никак нельзя ни выразить, ни повторить этот вечер и пруд. Но с годами начинаешь понимать, что и вечер повторится — разве что с незначительными новыми деталями, которые, в общем, не так и важны, — и выразить это можно, а главное — зачем выражать? Ведь это и так есть. И не так хрупок мир, как кажется в детстве, и ничего ему не сделается, и ничто в нем не пропадает; а то, что пропадает, становится чем-то другим, более нужным. И слава богу.

Время хорошо справляется с завистью, потому что понимаешь, что завидовать нечему, — но совсем не справляется с жадностью, потому что деньги достаются все трудней. Я понимаю, что по логике вещей и они должны бы стать по фигу, но до этого состояния я, видимо, еще не дорос, не доусовершенствовался. Время справляется с любовью, потому что встречаешь гораздо более привлекательные образцы и уже не умиляешься тем прелестным мелочам, которые так пленяли в первых возлюбленных: понимаешь, что слишком многое ты придумывал сам, а остальное было очень детскими, очень наивными уловками, на которые ты попадался именно по молодости. Но с ревностью и похотью время

не справляется вовсе. Напротив, то, что пленяло в первой возлюбленной, так и пленяет до сих пор; измен вообще никогда не прощаешь, хотя измены — не худшее, а вот то, как она врала в глаза! Как при этом любовалась собой! — потому что ведь тот, кто врет, всегда в преимущественном, выгодном положении. Он знает, что врет, а ты не знаешь. Вот эти мерзости бессмертны. Даже воспоминания о собственной трусости уходят, а страдание из-за того, что вот эти конкретные сиськи целует другой человек, — оно никуда не девается. Любопытно, что иногда, когда надо вызвать желание, а его нет (я и не представлял, что такое бывает, в двадцатьто и даже в тридцать все время хочется), я вспоминаю что-нибудь из раннего, и всегда работает.

И потом все больше задумываешься о том, каким словом, каким единственным иероглифом стоило бы все это подытожить. У Эренбурга еврей говорит в качестве итога слово «Нет», а последнее слово Хлебникова было «Да» (правда, на вопрос, плохо ли ему). Я думаю, Бог — прежде всего художник, и ему важно, хорошо ли получилось. Поэтому Блок сказал Маяковскому в ноябре семнадцатого: «Хорошо». И Маяковский назвал свою поэму не «Октябрь», как

собирался сначала, а «Хорошо». Потому что это и есть последнее слово. И с годами все больше понимаешь, что, если, конечно, тебе не придется помирать насильственно, в состоянии крайнего унижения (что унижительней насильственной смерти?), хорошо бы сказать именно «Хорошо». С незначительными деталями, которые опять же никому не важны, это и есть единственный вывод, который можно сделать из всего происходящего.

Раньше я относился к Довлатову спокойно, и массовый психоз вокруг него был мне непонятен. Сегодня я отношусь к нему прохладно — более ярких эмоций он вызвать не может, — а к его неумеренным поклонникам — с отвращением. В принципе, писатель за поклонников не отвечает (или отвечает в очень малой степени), но случай Довлатова особый. Он легитимизировал и наделил нешуточным сомнением целый класс людей, и людей чрезвычайно противных, шумных. Именно эти люди, слышав критику в адрес своего кумира, немедленно набрасываются на критика с визгом «Это зависть!» или «А ты кто такой?». В принципе, их нервозность понятна. Они сознают, что Довлатов был и остается в статусе полуклассика, весьма шатком, и статус этот у него появился не бла-

годаря качеству текстов, а благодаря энтузиазму определенной читательской группы, сильно выросшей за последнее время. Эта публика — суррогат советской интеллигенции, то, что от нее осталось после девяностых, когда лучшие уехали, а остальные деклассировались. В двадцатые годы у нас шли сходные процессы, и самым популярным писателем был тогда Малашкин (не путать с Малышкиным), или скромный, отнюдь не бездарный бытописатель Пантелеймон Романов, или эмигрант-порнограф Каллиников (он пишется именно так, не беспокойтесь). Бабеля как раз считали настоящим порнографом, а Зощенко — грубоватым юмористом, пишущим на потребу невзыскательного пролетария и пошлого мещанина.

Довлатов, в принципе, безвреден, поскольку утоляет потребность обывателя в высоком, а удовлетворять ее обязательно надо: лучше пусть читают Асадова, чем слушают «Ласковый май» или, не дай бог, впадают в фошизм. Нужны, однако, люди, которые напоминали бы обывателю, что удовлетворение его потребностей не есть главная задача литературы; что байка — дембельская, морская или эротическая — не высший жанр прозы; что теплохладность, как мы помним, никогда не была христианской до-

бродетелью! («О, если бы ты был холоден и горяч! Но поскольку ты тепл, то изблюю».) В прозе Довлатова нет ни стилистических, ни фабульных открытий; ни оглушительных, переворачивающих сознание трагедий, ни высокой комедии, ни безжалостной точности, ни сколько-нибудь убедительного мифа. Это среднесоветская (почему и популярная именно в постсоветской России) хроника скуки и раздражения — двух главных довлатовских эмоций, — охватывающих обывательскую душу. Ни тебе порывов и прорывов, ни отчаянного самобичевания, ни даже подлинного разрушения, серный запах которого обдаёт читателя с каждой страницы Венедикта Ерофеева; Довлатов и саморазрушаться по-ерофеевски не может — за каждым запоем следует очередной «Компромисс». Собственно, таких компромиссов у Довлатова чем дальше, тем больше; характерная черта второсортных, слабых талантов — их неуклонная деградация. «Зона» написана на уровне хорошего шестидесятнического реализма, и появиться в печати ей помешал только стойкий советский запрет на описание собственной пенитенциарной системы: это дозволялось только своим, в ограниченном количестве и с непременно исправлением в финале, лучше бы со свадьбой. Кстати, и «Зона» поражает тем, что нет в ней ни шаламовского вопроша-

ния о человеческой природе, ни солженицынской точности в деталях (Солженицын так описывает голод, что редкий читатель удержится от срочного поглощения куска черного хлеба с солью): это именно байки о тюряге и казарме, которые имеют широкое хождение среди русских читателей. Довлатов внушил этому русскому читателю, что каждый рассказчик таких баек, в меру веселых, в меру страшноватых (никогда не жутких!), и сам может написать нечто подобное — никакие аховые способности для этого не нужны, травы знай. Но следующие тексты Довлатова — особенно последние, написанные уже на Западе, — поражают падением и того весьма скромного таланта, какой у него был: брайтонские байки скучнее зековских и армейских. «Иностранка» — пример неудачной попытки угодить самому невзыскательному читателю: это написано так претенциозно и при этом так плохо, что даже люди, отказывающие Довлатову в культовом статусе, читают этот текст с чувством легкого стыда за нелюбимого автора. Оба «Соло» — на ундервуде и на IBM — опять-таки демонстрируют вырождение жанра: байка уже не прикидывается новеллой, поскольку для новеллы требуются и тщательно прописанный контекст, и острая фабула, и внезапная развязка, — нет, читателю предлагается обычный похмель-

ный треп, и какая читателю разница, что каждое слово в этом трепе начинается с новой буквы, ни разу не повторяясь? Ну а повторялась бы она — что, проза Довлатова стала бы музыкальнее или глубже? Его своеобразная епитимья, по выражению Андрея Арьева, — ни разу не начинать слова в одном предложении с двух одинаковых букв — могла создать у самого Довлатова ощущение творческого поиска и даже интеллектуального труда; но читателю от этого ни жарко ни холодно.

Довлатов не напрягает ни себя, ни читателя: это идеальное отпускное чтение, и вред от него, в общем, только один. Это чтение завышает читательскую самооценку. Читатель не просто думает, что он читает литературу (тогда как он читает полную самоповторов брайтонскую беллетристику, ласкающую вечно напряженные эмигрантские нервы), — нет, он получает своеобразную легитимацию собственного бытия. Оказывается, его «обывательская лужа», как называл это Блок, может быть предметом словесности! Его запои (никогда не слишком долгие), конфликты с начальством, трусливые измены себе и жене — все это проза, страдания, жизнь, причем вполне достойная увековечения! Оказывается, похмельное страдание — тоже страда-

ние, и родственное чувство к брату — тоже великое чувство, и ежедневная внутренняя борьба жадности и скуки, и жажда начать новую жизнь, и разрывание между женой и любовницей — все это можно воспеть, да как изящно! Беда, однако, в том, что Довлатов не только пытается дотянуть анекдот до уровня литературы, но и серьезные, трагические вещи низводит до анекдота: какую серьезную прозу можно было бы сделать из истории с перепутанными покойниками или со съездом лагерников! Но Довлатов как от огня бежит от сильных эмоций и серьезных мыслей — от того, что делает литературу литературой. Что в нем по-настоящему трогательно, так это то, что он на свой счет и не обольщался. Но он и не поднимался до высот подлинной, отчаянной ненависти к себе: все на уровне обычного кокетства. Да, вот я такой, непутевый, часто пьяный, небритый, нехороший. Но ведь я все понимаю про себя! И лучше пить, чем делать советскую карьеру и печатать советскую лживую прозу (что Довлатов тоже постоянно пытался сделать, но, к счастью, получилось только раз — в «Юности»).

Довлатов — типичный писатель с записной книжкой, заносающий туда чужие анекдоты, понравившиеся остроты и комические положения.

Но хорошему писателю, честно говоря, записная книжка необязательна (единственное известное мне исключение — Чехов, выдумывавший так много сюжетов, что был риск их забыть; да и то в зрелые годы он без этого подспорья обходился). То, что хорошо, и так запомнится, а мелочами не стоит отягощать ни память, ни литературу. Довлатов же именно коллекционер мелочей, и потому его прозу так приятно перечитывать: она забывается. Впрочем, в памяти и по втором прочтении задерживаются несколько бородастых остроумцев и общее ощущение похмельной тошноты, компенсируемое, впрочем, самоуважением. Пью, а не в партию вступаю!

Тому, кто знает контекст петербургской — ленинградской — прозы семидесятых, восхищение Довлатовым смешно. Понятно чувство Валерия Попова, сказавшего однажды: «При жизни Довлатов на меня снизу вверх смотрел, а после смерти зазнался». В одной этой фразе больше цинизма и юмора, чем во всей прозе Довлатова (и зря Попов взялся писать его биографию для ЖЗЛ — несоответствие масштабов и ролей слишком очевидно: не Попову бы писать про Довлатова, — но Довлатов умер на самом рубеже девяностых, не успев вместе со всей советской литературой пережить страшный кризис безвременья).

Тем, кто знает о фантастической изобретательности, музыкальности и свободе Житинского, кто помнит сентиментальность и жестокость Попова, отчаяние безумного Рида Грачева, страшноватые притчи Нины Катерли, да хоть бы и лаконизм Веры Пановой, у которой Довлатов служил секретарем и многому научился, смешны разговоры о феномене Довлатова. В своем поколении он был из крепких середняков. А уж на фоне петербургского андеграунда с его ненаигранным, подлинным безумием он симпатичен именно нормальностью — но нормальность хороша в человеческих отношениях. А в литературе она превращается в посредственность, которая и ласкает слух верного слушателя довлатовских баек. Все это уже, впрочем, довольно убедительно изложил Веллер — рассказчик куда более виртуозный, сочинивший, однако, помимо «Легенд Невского проспекта» несколько томов серьезной новеллистики и три отважных экспериментальных романа. Но Веллер требует от читателя диалога, со творчества, усилия — а Довлатова можно почти тывать лежа в гамаке, на верхней полке либо на пляжном полотенце. Читатель, конечно, нипочем не отдаст своего главного наслаждения — слезной радости от самоидентификации, от ненавязчивого отождествления с героями Довлатова, у которых не бывает ни подлинных трагедий, ни

захватывающих радостей, ни интеллектуальных озарений. Посредственности становятся страшно агрессивны, защищая своих кумиров.

Сам Довлатов, конечно, в этом мало виноват — повторяю, чтобы не обидеть его тень. Он свое место в литературе признавал. Но и сознаваясь в этом, кокетничал, надеялся на опровержение: что вы, вы настоящий, вы лучший! И этот хор обывателей — по-моему, самая горькая участь, которой может сподобиться писатель в России.

А что его Воннегут похвалил, так ведь писатель любит хвалить тех, кто слабей. С посредственностями надо дружить. Они люди опасные, когда их много.

Я Цоя не люблю, но понимаю, почему его любят другие: в каком-то смысле он самое точное выражение восьмидесятых, на которых обрывалась покамест наша история. Все, что было дальше, оказалось либо повтором, либо распадом, а Цой — явление пограничное: он чувствует, как сквозь ветшающую оболочку мира начинает сквозить неведомое. Оно может быть прекрасным, а может быть и ужасным — недаром большинство его песен маршеобразны, а главной темой стала война. Поколение, воспитанное на песнях Цоя, — это и ролевики, и донбасские добровольцы (а эти множества часто пересекаются), и я очень не люблю донбасских добровольцев, что ни для кого не секрет, и ролевиков тоже не люблю. Но нельзя не признать, что Цой очень точно выражает состояние, которое эти социальные группы породило, и если бы этого состояния

не выразил он, нашелся бы другой. Песни БГ не написал бы никто, кроме БГ, и даже хиты Шевчука, хотя его лирический герой гораздо типичней, мог написать только Шевчук. Но песни Цоя были бы написаны в любом случае, отпечатка личности на них нет — поэтому его герой чаще всего говорит о себе «Мы». Это «мы» было немедленно подхвачено, хотя и не сбылось:

Мы хотим видеть дальше, чем окна дома напротив
Мы хотим жить. Мы живучи, как кошки.
И вот мы пришли заявить о своих правах.
Да-а-а! Слышишь шелест плащей — это мы!

Дальше действовать будем мы! (4 раза; именно это и не сбылось, потому что как декларировать — так это они запросто, а действовать — удел немногих; к сожалению, те, кто решил действовать, либо были убиты первыми, либо быстро разочаровались. Так всегда бывает с социальными группами, которые слишком громко предупреждают, что дальше действовать будут они.)

Мы родились в тесных квартирах новых районов.
Мы потеряли невинность в боях за любовь.
Нам уже стали тесны одежды, сшитые вами
для нас одежды.
И вот мы пришли сказать вам о том, что дальше...

Цой — последний поэт русского рока, он почувствовал гибель той среды, которая этот рок породила; в некотором смысле он уже вырождение. Его поэтика — предельное упрощение главных мотивов и приемов позднесоветской поэзии; это не примитив, но очень сильная редукция. Московский поэт и теоретик рока Алексей Дидуров, который носился с Цоем задолго до его славы, то есть примерно года с 1983-го, сказал, что увидел в Цое большого поэта после песни «Я асфальт».

Я — асфальт.

Я свой сын, свой отец, свой друг, свой враг.

Я боюсь сделать этот последний шаг.

И поэтика Цоя — в самом деле асфальт, плоский и твердый, но хранящий дневное тепло. Время Цоя — ночь, когда асфальт это тепло отдает. Не знаю, в какой степени это его добровольный выбор, но он — именно человек, входящий в ночь; так вышло, что это время ему досталось. Куда более чуткий Окуджава, тоже очень плохо понимавший собственные туманные видения, написал об этом еще раньше: «Медленно и чинно входят в ночь, как в море, кивера и каски». Цой стал первым глашатаем этой ночи:

И эта ночь и ее электрический свет
Бьет мне в глаза,
И эта ночь и ее электрический свет
Бьет мне в окно,
И эта ночь и ее электрический голос
Манит меня к себе,
И я не знаю, как мне прожить
Следующий день.

А ему и незачем было знать, как прожить этот день. Он для него не наступил. В некотором смысле он вообще не наступил, потому что кровавое советское просвещение — да, так бывает — сменилось темными веками. Гражданами ночи, по выражению другого такого же ночного жителя Даниила Андреева, были Илья Кормильцев и Алексей Балабанов, два самых одаренных ее летописца и провозвестника, которые потому и прожили немногим больше пятидесяти, что понимали больше остальных. Они-то были последышами советской интеллигенции, сделали больше и лучше; у Цоя бэкграунд был действительно асфальтовый, детство в спальном районе и незаконченное профессионально-техническое образование. У лирического героя Цоя не только нет индивидуальности — он вообще очень мало говорит о себе, иногда прикидывается гопником («Мои друзья идут по жизни маршем»,

«Прохожий, проходи, пока не получил»), но общает самые общие сведения, которые можно понимать как угодно; но у него и биографии нет, в ней ничего не происходило, кроме кофе и сигарет. Цюю ничто не мешает предчувствовать катастрофу, он весь — такое чувствилище, потому что культурного багажа у него тоже минимум; у него очень простые, самые общие слова и почти элементарная музыка. Поразительно, какие это, в сущности, пошлые констатации («те, кто молчал, перестали молчать») и какие общеромантические, штампованные приметы (обязательное «седло», а как же):

Я ждал это время, и вот это время пришло,
Те, кто молчал, перестали молчать.
Те, кому нечего ждать, садятся в седло,
Их не догнать, уже не догнать.

Тем, кто ложится спать —
Спокойного сна.

А он не ложится спать, он в эту ночь уходит, хотя представления о войне у него самые общие, выраженные в песне «Легенда». Это едва ли не первый пример постсоветской поэтической фэнтези, которую в таких промышленных количествах написали потом участники ролевых игр,

для которых и все постсоветские войны были большой ролевой игрой. Убивали на ней, правда, по-настоящему, и некоторые не успели этого понять и погибли, а другие вовремя вернулись и больше, кажется, ничего подобного не пишут.

И как хлопало крыльями черное племя ворон,
Как смеялось небо, а потом прикусило язык.
И дрожала рука у того, кто остался жив.
И внезапно в вечность вдруг превратился миг.

И горел погребальным костром закат.
И волками смотрели звезды из облаков,
Как, раскинув руки, лежали ушедшие в ночь,
И как спали вповалку живые, не видя снов.

А жизнь — только слово,
Есть лишь любовь и есть смерть...
Эй, а кто будет петь, если все будут спать?
Смерть стоит того, чтобы жить,
А любовь стоит того, чтобы ждать...

Все это нормальные фэнтезийные клише, но потому они и усваивались так прекрасно. Главное же, что чувство, которое за всем этим стояло, было стопроцентно подлинным и тоже очень простым, так что незачем выражать его сложно. Настало время предельной простоты, время

великого вырождения (война — всегда вырождение, потому что это простейший способ реагировать на другого). Лучше всего это сказано в другой песне тех же времен, с того же альбома — «Мама, мы все тяжело больны»:

Ты должен быть сильным, ты должен уметь
сказать:

Руки прочь, прочь от меня!
Ты должен быть сильным, иначе зачем тебе быть.
Что будет стоять тысячи слов,
Когда важна будет крепость руки?

Вот оно. Тысячи слов ничего уже не стоят — но это не потому, что пришло более честное время. Так могут говорить только те, для кого убийство есть искусство и 11 сентября — культурный феномен. Нет, это не честное и не славное время, а это именно время вырождения. Слова ничего больше не стоят, потому что слова — это сложно, это требует ума, вообще единственное по-настоящему умное и важное на свете — это слова. Но вышло так, что они обесценились и теперь важна крепость руки. Цой, понятное дело, испытывает некоторую растерянность перед этим временем, но все-таки это его время. Не гребенщиковское, не шевчуковское, даже не ревякинское (хотя уж вот кто заигрывает с «Русским миром»).

Гребенщиков с его безупречной интуицией сразу почувствовал: пришли те, кого он предсказывал. И он помогал Цою, как мог, записывался вместе с ним, предоставлял ему для записей своих музыкантов, хвалил везде, где его спрашивали о перспективнейших авторах. Он ясно понял: он — последний из старых, а это пришел первый из новых. Цой пел «Доброе утро, последний герой», но уместней было бы сказать — первый. Последним он оказался только в том смысле, что других героев после него не появилось: дальше уже только воевали или торговали. Петь им было уже незачем. То есть что-то они такое пели, но это уже песни откровенно дворовые.

И Цоя страстно полюбили героини фильма «Сестры», хмурые девочки, увлекающиеся стрельбой; его пели подростки, ничем не отличающиеся от поколения девяностых, потому что время застыло, оно не двигалось, не порождало новых слов, а только новые гаджеты; но в этих гаджетах опять же пел Цой. Когда на стенах пишут «Цой жив», это чистая правда — но жив он в том же смысле, как Ленин, о котором последний советский писатель Пелевин в своем последнем эссе «Зомбификация» сказал: «Вот только неизвестно, живее он всех живых в деревне или все же чуть-чуть мертвее». Цой живее всех жи-

вых, потому что изначально был послем из мира мертвых. Это безошибочно почувствовал Рашид Нугманов, сделав финал «Иглы» таким двусмысленным: главного героя, которого играет Цой (и которого символически зовут Моро), вроде как убивают — но убить его нельзя, и он продолжает идти под песню «Группа крови на рукаве». Впрочем, за эту догадку правильной поблагодарить Бахыта Килибаева, гениального режиссера и сценариста, написавшего «Иглу»: он раньше всех понял это время и перестал снимать, и вообще исчез из поля зрения.

Мертвые не умирают. Герои неподвижного времени никому не могут уступить места: «Брат» тоже не очень живой, но гораздо более противный. Цой — все-таки рыцарь, он запомнился нам как однозначный защитник обездоленных, дворовый Ланцелот. Исток его славы, конечно, не только в текстах и тем более не в музыке, а в советских видеосалонах, в которых показывали фильмы с Брюсом Ли. В этих салонах, заплеванных семечками, творилась постсоветская субкультура. Цой любил Брюса Ли и в некотором смысле ему подражал, то есть выстраивал имидж с оглядкой на него. Не очень лестно все сказанное, верно? И я даже представляю, как на меня ополчатся фанаты Цоя — не только из числа

дворовых подростков (эти журналов не читают), а скорей из числа серьезных филологов и музыковедов, которые пытаются примазаться к эпохе и всерьез анализируют сочинения Цоя. Интеллигенция всегда любила закашивать под дворовых, они надеялись, что так их не сразу убьют. Иногда эти надежды даже оправдывались. Странно отвечать самому себе на вопрос, как же я-то выжил в это время и даже что-то написал: вероятней всего, я просто жил так, будто темных веков нет. Потому что рано или поздно они закончатся, и тогда я с эпохой совпаду. А пока они длятся, я просто буду делать вид, что Просвещение продолжается, или что Возрождение не закончилось; буду говорить и писать для таких же последышей, попытавшись надежно закрыться от мира Цоя, Бодрова, Балабанова, патриотических байкеров и слюняво-агрессивных ролевиков с отчетливым привкусом блатоты.

Но при всем при этом нельзя не признать, что Цой действительно был настоящим поэтом и крупным художественным явлением; ведь он все это выразил, а это удел мастера. И этим мастером он был начиная примерно с «Восьмиклассницы». Полней его об этих людях и временах не сказал никто. Случались у него и настоящие лирические удачи — например, «Дерево»:

Я знаю — мое дерево не проживет и недели.
Я знаю — мое дерево в этом городе обречено,
Но я все свое время провожу рядом с ним.
мне все другие дела надоели.
Мне кажется, что это мой дом. Мне кажется,
что это мой друг.

Я знаю — мое дерево завтра, может,
сломает школьник.
Я знаю — мое дерево скоро оставит меня.
Но, пока оно есть, я всегда рядом с ним.
Мне с ним радостно, мне с ним больно.
Мне кажется, что это мой мир. Мне кажется,
что это мой сын.

Это немногословно, как японская лирика, скажем; Цой вообще очень самурайское явление, в большей степени японское, нежели китайское, и так же заикленное на смерти, как все искусство этой маленькой островной страны, «построившейся вокруг идеи предела», как сказал все тот же БГ. Но как раз эта сентиментальная песенка для Цоя нетипична, в основном он брутalen. И главное настроение его песен мне как раз необыкновенно симпатично — ведь даже в поклонниках фэнтези, при всей их пафосной пошлятине, я вижу гриновскую тоску по неведомому, просто им таланта не дадено, чтобы

эту тоску претворять в ослепительные гриновские фабулы и краски. В Цое есть визионерство, то есть умение видеть сквозь земную оболочку; он почувствовал, что материальное стирается, что сквозь переусложненный рушащийся мир позднего СССР просвечивают главные мировые силы, очень простые, в сущности. Он смотрел на закат в спальном районе и представлял, что между землей и небом война.

И она действительно идет, но это совершенно не моя война, потому что это воюют искусственно противопоставленные, взаимообусловленные сущности; земли без неба не бывает. Такие войны всегда ведутся в темные времена, потому что другие занятия утрачены. И я понимаю, что все это одна большая небесно-земная разводка, но вот он сидит во дворе или на крыше — и видит войну. И поскольку он никого не убивает и не сманивает ни в какие ополчения, не наживается на этой войне и не эксплуатирует наступившую простоту, я могу его вчуже любить, уважать, цитировать, иногда даже слушать.

О, как я знаю эту вечернюю тоску спальных районов! Я, собственно, не знаю ничего более небесного. В таком спальном районе я вырос, Мосфильмовская тогда была окраиной, сразу за

нашими домами начиналось колхозное поле, из окна был виден элеватор. Рядом были окраинные заводы, и вдалеке дымила ТЭЦ, которую постоянно рисовал художник Гариф Басыров, смотревший на нее с другой стороны, из Матвеевского. Он тоже прожил недолго, и лучшими иллюстрациями к песням Цоя я считаю графику Басырова. И я очень прошу этот минималистский, в сущности, текст проиллюстрировать этой минималистской, в сущности, графикой. «Обитаемые пейзажи», например, прекрасная серия для этого или «Горожане за городом». И вот подростки, которые у нас во дворе играли на гитарах и которым еще нечего тогда было петь, ибо Цою, как и им, было двенадцать-четырнадцать лет, — они что-то чувствовали; эта светлая, закатная тоска новостроек, их огромное небо, как будто за домами начинается море, — это заставляло их трепетать, и трепет был настоящий. Они глушили его пивом, матом, анекдотами, но чувствовали они, что кончается что-то очень большое и начинается что-то совсем новое, что-то необыкновенно интересное, открывающееся за поворотом.

За поворотом, как мы знаем, был автобус.

Но они этого не знали и знать не могли. Они что-то чувствовали (такой подросток ничего не

знает, поэтому все чувствует) и хотели стать чем-то гораздо большим, чем были; и все мы до сих пор пытаемся стать чем-то большим, потому что эпоха смахнула шахматы с доски, а там ведь стояла сложная комбинация с неочевидными продолжениями. Нам казалось, что после жизни бывает что-то необычное, а после жизни бывает смерть. Но сам момент этого предчувствия, этого трепета на грани, Цой поймал, и в песнях его есть предчувствие некоего превращения. Оно слышится в «Кукушке» — единственной песне последнего альбома, в котором еще есть этот прощальный, закатный, окраинный звук.

В остальном уже голимый асфальт типа «Когда твоя девушка больна».

*Бессильные жить, бессильные умереть.
Только потому, что кто-то испугался жать
спелую пшеницу. Только потому, что один-
единственный человек решил не работать косой,
никогда больше не брать этой косы в руки.*

«Коса»

На первое свидание Смирнов пришел с чемоданом. Надя даже не очень удивилась, потому что, если после двухнедельной переписки приглашаешь мужчину домой — чего там, люди взрослые, ей двадцать семь, ему за тридцать, что мы будем, как подростки, ошиваться по кафе, — естественно ожидать, что он придет с вещами. К тому же из писем его было понятно, что он живет неустроенно, какие-то трения с родней, квартиру он оставил жене, и, если все у них получится,

он сразу переедет. Но чемодан ее изумил, он как-то не вязался со Смирновым. Смирнов был красив и даже, пожалуй, элегантен, пришел в сером мягком костюме, к которому пошла бы и какая-нибудь старомодная шляпа, но он был без шляпы; все на нем было новое, хорошее, и сам он был с виду надежен, легко нашел нужный тон, не болтал, не рассказывал небылиц, не говорил пошлостей. Было очень естественно, когда после чая он сказал: ну, я так понимаю, что остаюсь? Тут же он кивнул на чемодан, о котором Надя тактично не расспрашивала, и улыбнулся: не думай, я без вещей. Просто мне завтра надо его передать.

— То есть ты был уверен, что ночуешь? — не удержалась она.

— Вообще да, — сказал он с той же приятной простотой. — Я с первого письма все понял. Ну не все, но мне заранее все понравилось.

На сайте blinddate.com, где, как легко понять, назначались свидания вслепую, Надина информация провисела всего два дня — Смирнов откликнулся очень быстро, письмо прислал понимающее, с несколькими фразами и паролными шуточками, которые имитировать нельзя. На случай, если он окажется маньяком, Надя преду-

предила соседа, от которого ее отделяла только картонная стена, сквозь нее всегда был слышен его неумолкающий телевизор: буду орать, колотить — вызывай полицию и ломай дверь. Сосед был человек понимающий, правильный, до тошноты семейный, и в его готовности броситься на помощь она не сомневалась. Но Смирнов был совсем не похож на маньяка, хотя чемодан — да, чемодан вызывал вопросы. Не то чтоб он был подозрительно, непропорционально велик — кто их знает, маньяков, расчленит и вынесет; нет, он был средний, как раз для курортной поездки, и может быть, там лежала свежая рубашка на завтрашний день, но вряд ли Смирнов был таким фанатом свежести. Смущало другое: это был чемодан глубоко советский, темно-коричневый, со стальными углами, очень старый, явно вещь с историей, на какие у Нади, костюмера и знатка тридцатых, был профессиональный нюх. Эта вещь много путешествовала, и с ней тоже много путешествовали, причем далеко не такие элегантные люди, как Смирнов. В ней мог храниться ватник, а могли запретные рукописи, припрятанные на даче. В похожем чемодане Надин дед хранил слесарные инструменты.

Смирнов без всяких приставаний, очень естественно перешел к главному — разделся, сходил

под душ, влез под одеяло (Надя так же естественно, без объяснений разобрала постель). Она тоже сходила в душ, вышла оттуда в халате — еще не хватало устраивать сцену из дешевого порно — и нырнула к нему. А дальше все было странно: он проделал все грамотно и даже деликатно, но без охоты, словно отрабатывал не слишком обременительную, но и не особенно приятную обязанность. Она даже подумала — кажется, ему действительно негде жить, и я ему нужна только как перевалочная база, он словно отрабатывает за ночлег. Но Надя перенесла такой тяжелый срыв, ей так необходимо было забыть последний год, она настолько не могла больше жить совершенно одна, а на домашних животных у нее была такая сильная аллергия, что привередничать не было резона. Стерпится — слюбится, а он был довольно милый, и если даже ему не очень хотелось — ничего, ее вполне устраивало мужское присутствие рядом. С ним было о чем говорить, он был в меру насмешлив, у него в недавнем прошлом тоже был тяжелый, много крови испортивший разрыв, у него была нестыдная работа в автосалоне, он не бедствовал, хоть и не роскошествовал, и еще, что немаловажно, он был сух и поджар, ровно той комплекции, ныне столь редкой, какую она любила и ничего с этим поделать не могла. Только одно ее настораживало, но она не

взялась бы определить эту его странную особенность. Короче, казалось, что он ненадолго. Даже несмотря на то, что пришел с чемоданом, было ощущение, что он тут в командировке, не конкретно у нее, а вообще; что все в здешнем мире он наблюдает с некоторой дистанции. Он не играл в красивую загадочность, рассказал о себе ровно столько, чтобы она успокоилась, но и в постели был как будто не с ней, хотя почти не закрывал глаз, но это ее и смутило. Он на нее смотрел проверяющим, испытующим взглядом — она читала про такой, но увидела впервые. И все время как будто спрашивал себя: с кем это я, зачем? В остальном все было прекрасно, и во сне Надя повернулась к нему спиной — это был для нее серьезный знак доверия; он не храпел, не дергался, спал бесшумно, как очень усталый человек, которому завтра опять перемещаться в какую-то очень далекую даль, с верным чемоданом, где лежали вещи, принадлежащие не ему. Во сне чемодан жил собственной жизнью, заставлял его перемещаться снова и снова, и не потому, что за ними — Смирновым и чемоданом — кто-то гнался; нет, у чемодана была собственная программа действий, и надо было следовать за его таинственным предназначением. Собственной злой воли у чемодана тоже не было, просто такова была его функция — перемещаться, и зна-

чит, кто-то должен был его перемещать. Смирнову это страшно надоело, свободен он бывал только по ночам, и лицо во сне у него было детское, мирное.

Утром он сказал, что поедет сейчас ненадолго по делам — у него в автосалоне была работа через день, — а часа через два вернется, и они вместе куда-нибудь пойдут. И никаких предчувствий у Нади не было, она спокойно его проводила, он оставил чемодан — явно тяжелый, у него и вид был такой, — и не вернулся, конечно, ни через два часа, ни через шесть. Только в семь вечера позвонил — голос звучал глухо, словно издали, и сказал: через несколько дней придет человек, чемодан надо будет передать ему. Не беспокойся, ничего криминального. Ну что ты, в самом деле. Ну не бомба же там, в конце концов. «Откуда я знаю?» — заорала Надя, взорвавшись не хуже бомбы. — Что это за тайны, мы в конце концов едва знакомы, как ты смеешь вовлекать меня в свои грязные дела?! «Никаких грязных дел», — сказал Смирнов очень спокойно и устало. «Никаких дел вообще. Просто придет человек и заберет чемодан». «А когда придешь ты сам?» «Я пока не приду», — тем же усталым и спокойным голосом объяснил Смирнов. «Я не могу пока. Спасибо».

И отключился, и, разумеется, при всех ее звонках был недоступен. Вероятнее всего, сменил номер. На два письма — негодующее и презрительно-спокойное — он тоже не ответил. Смирнов — самая распространенная русская фамилия, Игорь — в пятерке самых распространенных имен, страница в фейсбуке оказалась удалена, в других сетях она его не нашла, и на третий день ей стало ясно, что вся история была затеяна ради помещения на хранение проклятого чемодана. Два дня ее останавливала дурацкая порядочность, на третий она его вскрыла.

Замки поддались легко, хотя явно давно не смазывались; никакого кода не было, да и не такой это был чемодан, чтобы устанавливать на нем код. С такими чемоданами люди тридцатых годов отправлялись в свои бесконечные поездки — на добровольные или принудительные стройки, в армию, на новую квартиру при переезде из барака в коммуналку. Она ждала чего угодно, и все-таки не того, что там обнаружилось. А с другой стороны, что еще могло лежать в таком чемодане? Стоит нам столкнуться с любой неожиданностью, как выясняется, что именно ее-то мы и ждали. Тут можно было бы еще порассуждать в порядке ретардации, но у нас не так много времени и места, а потому в чемода-

не обнаружили: красный, убого сшитый плюшевый заяц, отрезанная детская коса, короткая, светло-рыжая; пачка семейных фотографий разных лет — какие-то пролетарии за пляжной игрой в волейбол, печальная женщина полуинтеллигентного вида с плаксивой девочкой, лысеющий майор с орденом Красной Звезды, толстый мальчик за пианино, две хохочущие старшеклассницы, застолье, напоминающее встречу престарелых одноклассников, цветное фото присягающего воина у знамени, классический «Привет из Сочи» с таким же классическим люмпеном и его кучерявой спутницей, оба вставились в декорацию с морячком и русалочкой; еще какая-то ерунда из чужой, никому не нужной жизни; пачка таких же бессмысленных документов, в том числе удостоверение сотрудника грузинского министерства просвещения 1978 года на двух языках... Почему-то молоток: что собирались им заколачивать? Или Смирнов собирался убить ее этим молотком, отрезать прядь волос, сложить на память в чемодан? Давно просроченная аптечка, из тех, с которыми ездили на курорты: закрепляющее, снотворное, пирамидон... Все это никак не выстраивалось в схему, не указывало на цель поездки: косу не берут на курорт, таблетки не хранят в семейном архиве, документы вообще непонятно к чему... Заяц тоже путал

все карты. Она внимательно перебрала все вещи: купальную шапочку, чистые семейные трусы — такие называют трусерами, две стреляные гильзы, какие мальчишки поднимают на стрельбищах, грошовой пластмассовые черные очки, несколько газетных вырезок про экстрасенсов, одинокую кожаную перчатку на меху... Наконец она заметила небольшой хрустящий пакет с белым порошком. Видимо, все остальное служило для отвлечения. Вот же сволочь! Ей могли теперь впаять транспортировку и хранение! Очень осторожно она раскрыла пакет и присмотрелась. С виду это была типичная поваренная соль, но попробовать ее она не стала — это могло быть что угодно, хоть цианистый калий, хотя, скорее всего, именно кокаин. Кокаин она пробовала два раза в жизни, без особенного эффекта. А с другой стороны, запросто мог быть и гексоген. В любом случае оставлять это в доме было смертельно опасно, да и количество вещества было не таким, чтоб ее убили за уничтожение пакетика. Она осторожно, оглядываясь зачем-то, всыпала порошок в сливное отверстие кухонной раковины, шумным потоком пустила воду, а сам пакет сожгла в пепельнице. Вместо того чтобы скорчиться, он ослепительно вспыхнул зеленоватым, как ей показалось, пламенем.

Через неделю ей позвонил со скрытого, не определившегося номера некто пожилой.

— Я должен у вас забрать чемодан, — сказал он виновато. — Простите, что поздно, но я раньше не мог.

— Я вам привезу его в центр, — сказала Надя, не желая больше пускать в дом сомнительных гостей.

— Извините, но я должен его осмотреть, — сказал голос после заминки.

— Там и осмотрите. Приходите завтра в семь в кафе «Соната» у метро «Аэропорт». Домой к себе я вас не пущу.

— Хорошо, — смиренно сказал голос. Надя поперлась с чемоданом в кафе «Соната», рядом с самодеятельным театром «Пятая стена», где она оформляла недавно спектакль по песням шестидесятых. Удивительным образом песни шестидесятых знали все, и в застольях почему-то пели именно их, а не, допустим, «Я забиваю сваю».

Ровно в семь к ее столику, рядом с которым жалко и смиренно стоял чемодан, подсел рыхлый

человек лет шестидесяти, неуловимо напоминающий Смирнова — то ли отсутствующим взглядом, то ли особенной плавностью движений; отец не отец, а старший брат, проживший, надо полагать, непростую жизнь. Он тоже был в сером костюме, некто в сером.

— Извините, что долго, — сказал он еще раз. — Вы позволите?

— Да, конечно. Он же ваш.

Незнакомец удивленно вскинул бровь, но возражать не стал: мой так мой. Он положил чемодан на колени, открыл, бегло пересмотрел и перещупал вещи, документы проверять не стал, порылся на дне, посмотрел на Надю, снова все перещупал и поднял глаза:

— Тут не все.

— Все, что было, я вам принесла.

— Тут не все, — повторил он с неопределенным выражением — отчасти сострадательным, отчасти досадливым, словно у него болел зуб, а у него спросили адрес, которого он вдобавок не знал.

— Я принесла, как было, — повторила Надя.

— Зачем вам? — спросил он, помолчав.

— Не понимаю вас, — сказала Надя, изо всех сил сдерживаясь, чтобы не позвать на помощь. Но пожилой не стал делать ничего особенного и не говорил ничего угрожающего. Он аккуратно защелкнул чемодан и поставил его рядом с Надей.

— В таком виде я взять не могу, — сказал он наконец.

— А куда мне его деть?

— Понятия не имею. Это вам теперь решать.

— Вы ничего не хотите мне объяснить? Где Смирнов, например?

— Какой Смирнов? — спросил он, и Надя поняла, что Смирнов, конечно, пользовался псевдонимом.

— Тот, что мне оставил... это.

— Откуда же я знаю? — удивленно сказал серый. — Это вообще не мое дело.

— А ваше какое?

— А мое дело принять, но в таком виде я не приму. Дальше ваше дело. Извините.

Он встал, обдернул пиджак и быстро пошел к выходу. А что могла сделать Надя? Она посмотрела ему вслед, увидела сквозь стеклянную стену «Сонаты», как он сел в такси, и даже не стала запоминать номер. Что это даст? Она расплатилась за чай и хотела забыть чемодан в кафе, но это выглядело бы подозрительно, и, кроме того, ее тут знали. Она встала и взяла чемодан, показавшийся ей особенно тяжелым, и повезла его домой, но около дома передумала. Сама мысль о том, чтобы поднимать его на пятый этаж, пусть даже в лифте, показалась ей невыносимо скучной и унижительной, и она оставила его на помойке возле дома.

Всю ночь ей очень плохо спалось. Ее мучила мысль об уродливом красном зайце, о никому не нужных фотографиях, о жалких стариках, собравшихся на жалкое застолье. Ей стало казаться, что все эти остатки чужих ненужных жизней были доверены ей, могли получить у нее последнее пристанище, а она вот так ими распоряди-

лась, и на свалке теперь оказались жизни десятков людей, из которых ей почему-то жалче всех было обладателя удостоверения из грузинского минпроса. Но сама мысль о том, чтобы забрать чемодан прямо сейчас, ночью, была невыносимо пугающей — черт его знает, что там творится ночью вокруг этого чемодана, может, тени людей с фотографий водят вокруг него хоровод под неслышные песни шестидесятых годов... Окна у нее выходили во двор, а помойка была с другой стороны, на краю оврага: брр! Но утром, когда все эти страхи уже казались чушью, она побежала на помойку и подхватила чемодан — отсыревший, что ли, и потому совсем неподъемный; дома перебрала все вещи — словно ей могли что-то подбросить, но нет, конечно, плюшевые зайцы не размножаются, — и стала поднимать проклятую тару, чтобы спрятать на антресоли, и тут-то у него оторвалась ручка.

То есть теперь он был еще и без ручки.

Но она запихала его туда и даже изредка доставала, уже начав относиться к этим людям с фотографий как к членам своей семьи. Она придумала им фамилии, биографии, потому что о собственных предках не знала почти ничего; она спросила мать (отец погиб, еще когда ей бы-

ло пять), не знает ли она некоего Каламия, но мать, конечно, не знала. А чего Надя ждала — внезапно обнаружившихся связей? Нет, так не бывает или бывает только в самой плохой фантастике, а у нас и не фантастика вовсе. Поскольку других старых чемоданов у нее не было и вообще она сбежала из предыдущего брака с минимумом вещей, она стала подкладывать в этот чемодан какое-то свое старье, и теперь, кроме советских артефактов, там жили старые туфли (их жаль было выкидывать, их она купила в хороший и важный день), платье, которое вполне еще годилось, но надевать его не хотелось по разным причинам (да что там, она была в нем в тот вечер, когда пришел Смирнов), пачка газетных рецензий за разные годы — в общем, ничего особенного, но подобие семейной истории. Интересно, как все эти вещи шестидесятых годов уживались с вещами девяностых. Наверное, они ссорились, а потом поняли, что никому больше не нужны, и впали в обычное для забытых вещей беспамятство.

А потом появился Надеждин, с такой подходящей фамилией, и родился сын, и началась нормальная жизнь — чемодан лежал на антресолях, как член семьи, и даже никогда не снился. Жизнь шла хорошая, но как бы без соли. Только однажды, когда Надиному сыну уже было десять, по-

звонил Смирнов, и Надя сразу узнала этот спокойный, очень усталый голос.

— Здравствуй, Надя, — сказал он.

— Это кто? — спросила Надя выцветшим голосом, хотя сразу все поняла.

— Зря ты это, — сказал Смирнов. — Он должен переходить.

— Он уже без ручки, — сказала она машинально.

— Да и ладно, — ответил он и после паузы объяснил зачем-то:

— Добавлять можно. Выбрасывать ничего нельзя.

И отрубился, и больше, конечно, не звонил.

Когда сыну было уже пятнадцать, он полез на антресоли убирать коньки.

— Ма-ам! — позвал он. — Давай выкинем этот чемодан. Я вообще не помню, чтобы ты его доставала.

— Нельзя, — сказала Надя. — Пусть лежит.

— Да зачем он нам? Там небось дрянь одна.

— Пусть лежит, — повторила Надя с внезапной яростью, и сын, ворча, смирился.

И ПОЭТОМУ ОНО ТАК ВСЕ И ИДЕТ, ПОНИМАЕТЕ, ВОТ ПОЭТОМУ ОНО ВСЕ ТАК И ИДЕТ, ТО ЕСТЬ ТАК И ЛЕЖИТ.

12 ноября, около полуночи, в ресторане Криста Александр Николаевич заметил капитана Стафиди. Тот поманил его пальцем.

Александр Николаевич сел за столик, на котором стояли три тарелки — со ставридой, горохом и вареной свеклой. Вялые осенние мухи порывались сесть на еду, капитан так же вяло отгонял их волосатыми пальцами.

— Свекла первое дело для глаз, — сказал капитан. — Капитану глаза первое дело.

Александр Николаевич, не желая обидеть, поддел вилкой кусок свеклы и, закатив глаза якобы в наслаждении, прожевал.

— Послезавтра в ночь отходим, — будничным тоном, без предисловий и таинственных понижений голоса сообщил Стафиди. Да слушать и некому было — в углу мертвым сном спал измученный гарсон Степан, рухнув на стол косматой головой, да одиноко накачивался водкой армянский миллионер Сазарян, которому явно было не до чужих разговоров. Если уютно, Сазарян сам давно мог отплыть, купил шхуну, но не умел нанять матросов, а без матросов не справлялся.

— Ну, хорошо, — сказал Александр Николаевич, чтобы что-нибудь сказать. — Счастливый путь.

— Очень тебе советую, — продолжал Стафиди, — давай. Могу взять с пианистом. Но больше никого. Понимаешь? Не рассказывай много.

— Да и некому, — признался Александр Николаевич.

— Ну и вот и хорошо. Послезавтра, понимаешь?

— Я не знаю, — устало сказал Александр Николаевич. — Меня Слащев в штаб зовет. Теле-

грамму прислал в отель. Говорит, я устал без твоих песен.

— Тебя там убьют с твоими песнями и забудут, как звали, — пообещал капитан. — Ты пока думать будешь, они придут, и все. Слащев твой застрелится, и туда ему и надо. А ты человек молодой, у тебя способности.

Александр Николаевич с приятным удивлением замечал, что простые люди, люди дела, как их называли, его любили и часто звали в компанию. То ли он напоминал им мирную жизнь, то ли была в его сценическом облике детская беспомощность, которую они легко принимали за истинное его качество. Между тем Александр Николаевич вовсе не был дитя. Под балахоном и гримом он был спортсмэн, даже атлет, выносливей и приспособленней многих. Но пожалуй, сейчас заблуждение волевых людей было ему на руку.

— Ты пока будешь думать, мы далеко будем, — сказал Стафиди. — А эти близко будут. И когда придут — я местным не очень завидую.

Тринадцатого Александр Николаевич пел в «Ренессансе». Согласился он только потому, что делать было совсем нечего. Деньги ничего уже не стоили. Все понимали, что этот концерт — последний, и с Россией надо было проститься, пусть бессмысленно, пусть ритуально. Что значили слова «проститься с Россией» — Александр Николаевич не понимал, потому что никакой России не было давно. Что ее больше не будет, он почувствовал еще в Одессе, наблюдая за своей вонючей, начисто выродившейся публикой. Если Россией была теперь эта перепуганная толпа бывших аристократов, небритых офицеров и бродячих артистов, то и спасать ее не стоило. Оставался, конечно, шанс, что новая Россия всех их простит и примет, но явно не завтра, не после Перекопа. Сначала всех, кто останется, постреляют, а потом, может быть, начнут впускать обратно. Надо же им деньги считать, корабли строить, армию создавать, как объяснял Слащев. Без нас они никак не обойдутся. Вопрос только — когда у них пройдет первая злость и они начнут впускать назад. Кроме того, после трех лет скитаний по югу России хотелось в Париж. Непонятно было, что там делать. Балиев подался туда, умный человек, еще в апреле благодаря армянскому паспорту. Армянам вообще хорошо, везде свои. Русские тоже везде, но они своих

не любят. Допустим, Балиев и там откроет что-нибудь и позовет петь, а впрочем, всегда можно устроиться: в конце концов, можно петь и по-французски. Положить на простую мелодию — и вперед: «Comme on aime le jour et la vie ou l'été, mais comme les heures qui se suivent, et ne sonnent jamais ensemble nos deux ombres se poursuivent... comme deux chiens de la même portée», — намурлыкал он. Но так, как было в России, нигде не будет, и сверх того, еще в Киеве ему нагадала достоверная, с хорошей репутацией цыганка Глаша Лебедева, что никуда ехать ему не надо, он все равно умрет в Петрограде после сытного обеда. Он усмехнулся тогда, и она рассердилась, хотя он вовсе не хотел унижить ее искусство. Что же, скаламбурил он, после обеда не так обидно.

Александр Николаевич не хотел уезжать. Он любил Россию, сколь ни смешно это звучало, и понимал, что даже в таком виде она все-таки своя; он понимал и то, что любовь эта животная, неумная, что не всякую Родину надо любить и что врожденное не значит лучшее, но при всяком отъезде, хоть бы и в самой веселой компании, его сковывала неуверенность. Сверх того, за границей он бывал мало и плохо знал ее. Он и в гимназии, пока не выгнали, хуже всего успевал по географии. Можно было сколько угод-

но говорить, что русскому теперь везде чужбина, но русский воздух никуда не уезжал, и даже грязное севастопольское море было русское море. Александр Николаевич понимал, что все эти сентиментальные соображения не тронут тех истинно русских мужиков, которые не сегодня завтра выбьют слащевских с Перекопа, а потом пойдут гулять по Крыму, — но уходить с капитаном Стафиди на «Великом князе Александре Михайловиче» ему не хотелось. Пианиста он уже предупредил, пианист был киевский мальчик девятнадцати лет, сразу решившийся ехать, — «Я сразу вернусь, Украина все равно непременно отделится», — а сам ничего про себя не знал, хоть до отхода «Великого князя» оставались сутки. Он отпел с большим подъемом первое отделение, закончив его старой, плохой, но отчего-то милой песенкой:

Вы стояли в театре, в углу, за кулисами,
А за Вами, словами звеня,
Парикмахер, суфлер и актеры с актрисами
Потихоньку ругали меня.

Кто-то злобно шипел: «Молодой, да удаленький.
Вот кто за нос умеет водить».
И тогда Вы сказали: «Послушайте, маленький,
Можно мне Вас тихонько любить?»

Вот окончен концерт... Помню степь
белоснежную...

На вокзале Ваш мягкий поклон.
В этот вечер Вы были особенно нежною.
Как лампадка у старых икон...

А потом — города, степь, дороги, проталинки...
Я забыл то, чего не хотел бы забыть.
И осталась лишь фраза: «Послушайте,
маленький,
Можно мне Вас тихонько любить?»

Он хотел здесь спеть эту вещь потому, что здесь же и сочинил ее в шестнадцатом году, и действительно была маленькая травести, похожая на помятого ангела, — провинциальная актриска местного театра, теперь, вероятно, давно канувшая, или бежавшая, или Бог знает, что с ними бывает, с этими маленькими актрисами. «Я знаю этих маленьких актрис, настойчивых, лукавых и упорных, фальшивых в жизни, ласковых в уборных, где каждый вечер чей-то бенефис». Он никогда их не видел старыми, всегда двадцати с чем-то летними, словно их потом отзывали в фальшивые театральные небеса. Тогда были задохнувшиеся, совершенно бэзумные поцелуи, и больше ничего. И непонятно было, как с ней, почти бестелесной, можно даже целовать-

ся: губы были жаркие, язык опытный, а тело словно и не чувствовалось в руках. Грудь — какая грудь, помилуйте? Так, птичка. Она же называла его маленьким, хоть и была, кажется, ему по локоть, точно уж ниже плеча! И выскользнула, словно почувствовав его — нет, не презрение, но, что ли, неверие в нее, в самую ее реальность, — и конечно, никакого поклона на вокзале. Но теперь, когда он допел, — странно, каким-то врожденным знанием он уже об этом знал, — она ждала его за кулисами, так же сливаясь с театральным тряпьем, как тогда, выступая из сумрака бледным лисьим личиком.

— Видите, маленький, — сказала она, чуть задыхаясь. — Вот и встретились.

— А ведь вы даже имени мне не сказали, — только и нашелся он ляпнуть.

— И не надо. Вы же и так знаете.

— Саша? Таня? — спросил он вдруг. Дело в том, что, как понимал он теперь, — и это, кстати, мог быть тиф, потому что тиф часто начинается с подобного бреда, — она была именно Саша, девочка из Киева, которую он любил так страстно, так жарко, как не случалось ему

любить потом. Ей было двенадцать, ему на год меньше, и она так заливисто лгала! Она лгала, что ее родители не настоящие, что они выманили ее из цирка, где она ездила по канату на велосипеде. Это очень трудно, но можно научиться. Она была звезда цирка, но директор цирка, ужасный немец, ее бил, не давал толком есть, ей никогда — ты можешь вообразить, никогда! — не покупали мороженого. И родитель, пожилой, добрый, одинокий, который не был ей настоящим отцом, и настоящего она никогда не знала, потому что выросла на арене, — этот родитель помог ей сбежать, соблазнив ее мороженым. Она поддалась и должна теперь ходить в скучную гимназию, и ей не покупают велосипеда, чтобы заставить ее забыть цирк, а когда-то, когда-то! От нее обмирали Лион, Марсель, да что там, от нее обмирал Бердичев! Ей предлагали даже собственную яхту, где на полу в каюте лежала шкура медведя. Тут уж нельзя было не поверить, шкуру медведя она не могла выдумать. И в доказательство своих триумфов в Лионе и Марселе она даже спела жестяным или скорей стеклянным голосом: «Ле гроссет у фон де кебюле э потон ле фе де соли, а фато Калле гроссет-бюле, фарам, фа-фа! У поттен ла кетт де гра-кале, э фонсе солле тролле-бюле, э солле векон ле кебюле, фарам, фа фа!» Эти слова ничего не значили, это

он понимал и тогда, но они были, вероятно, волшебные. И вдруг она страшно дернула его за рукав, и точно — налетел ветер, упала ветка. Могла бы упасть на него. И сразу опять стало безветренно, словно этот порыв из ниоткуда ворвался вдруг, только чтобы дать ей возможность его спасти. А потом, точно, какой-то добрый господин забрал ее домой, и больше Александр Николаевич никогда ее не видел, а когда увидел, ее уже звали Таня. Она была сестрой его нового друга, и новый друг тотчас обещался. Конечно, приходить к ним стоило только ради Тани, и даже «ангельская пыль», которую он посулил, не имела теперь никакого значения. Самым ангельским была Таня, но она куда-то исчезла, уже во второй визит он ее не застал, а потом как-то все закрутилось, — он спросил тогда этого нового друга, дядю Чурихина, где сестра, а тот ответил с фальшивой небрежностью: «Танька, что ли? Не заглядывайся, брат, она не для тебя, да и редко я ее видел с одним и тем же два вечера подряд...» Разумеется, но это именно потому, что рядом не было его, настоящего: после него бы она никогда, ни с кем — но у них не было времени, и шел тринадцатый год! Она успела только ему сказать: вам этого не надо, совсем не надо. Имея в виду ангельскую пыль, к которой он так и не приохотился.

Она появилась только в облике маленькой травести, за кулисами, когда он едва входил в славу, — и теперь не могла не явиться на последний концерт, но у них опять совершенно не было времени.

— У нас очень мало времени — так и сказала она. — А здесь я вот для чего: если вы хотите остаться, то я это могу устроить.

— Откуда вы знаете? — глупо спросил он.

— Откуда я знаю? Что значит откуда? Все знают, все только думают, как убежать, и многие хотят остаться, но не знают, что будет. А я знаю, и я могу вам это устроить. Вы понимаете, конечно, что тут первое время будет тяжело. Но тяжело будет для офицеров, офицерам они будут, конечно, мстить, а местных они не будут трогать. Я поселю вас у тетки, это под Севастополем, в Балаклаве, и никто не тронет вас. А я знаю, что у вас есть навык медбрата, вы будете вместо фельдшера, фельдшеры им нужны. И вы спокойно переждете тут плохое время, а потом можно будет уехать куда вы захотите. Можно в Киев, у вас там родные. Можно в Петроград. Он будет... ну, неважно. Даже в Москве можно будет жить, первые пять лет

вообще легко, а потом вы устроитесь. Я все время буду с вами, если вы не прогоните, ведь вы не прогоните.

Она говорила быстро, но не лихорадочно, — говорила так, что за каждым словом чувствовалось твердое знание. И чем дольше она говорила, тем ясней он понимал, что действительно мечтал о ней всю жизнь и встречал ее на всех путях, но не всегда узнавал; ему хотелось убедиться в ее реальности, взять ее хотя бы за руку, — но, даже уже чувствуя в руке ее холодные крошечные пальцы, он не решался к ней прикоснуться. Это почему-то было нельзя. Ее можно и нужно было выслушать, но совершенно нельзя было трогать.

— Хорошо, — сказал он, продолжая мысленно отсчитывать минуты; у него еще десять минут было до выхода на сцену. — Но если уеду? Если я уплыву, как вы это говорите? Я сам еще не знаю, но если это допустить?

— Если это допустить, — проговорила она с трудом и нехотя, — вы будете сначала в Константинополе, потом в Румынии, потом в Польше. Петь вы будете в кабаках, концертного зала даже вроде этого у вас не будет долго. А там ведь к артистам относятся не так, как здесь. Тут

вы любимая игрушка, любимая кошка, — она выгнула спину, показала кошку, кокетливую, но довольно мерзкую. — А там вы приложение к пиву, закуска. И так будет долго. Потом, допустим, Париж — ну и что же Париж? Снова кабаки, презрение и тупость французов, полунитета, чердак, называемый мансардой для пущей красоты. Вы будете все время проситься назад. Вас будут поддерживать, послы будут вас слушать, послихи даже влюбляться станут, но все их ходатайства будут разбиваться о стену, все их благие намерения будут ничто. И слушать вас будет пьяная русская шваль, которую вышвырнули отсюда, которой никто не верит, потому что все они лгут и все верят, что вернутся. И вы споете им однажды, что пора уже отдохнуть, что Родина где-то там вас ждет, возродившись в огне, — и они закидают вас тухлятиной и скажут, что вы продались...

— Правильно, — кивнул вдруг Александр Николаевич.

— Конечно, правильно, — подтвердила она, — я говорю только то, что знаю.

— Нет, — досадливо сказал он, — я не в том смысле. А в том, что правильно скажут.

— Вот видите, да. Именно так. Даже такая простая вещь, как просто сказать, что пора домой, — она уже будет тогда продажей. Вам уже ничего нельзя будет сказать, чтобы не продать, потому что вы будете в ложном положении. И тогда, когда они не дадут вам нигде выступать и у вас не останется ангажемента, — она тараторила все быстрее, хотя переходила к самому важному, — вам тогда придется, придется, ничего не подделаешь, у вас просто не останется другого выхода...

— Что придется? — спросил он вовсе уж глупо. — Что именно придется?

— Ах, не притворяйтесь, вы все отлично понимаете. Не вы первый, не вы последний. Надежда Васильевна на что звездочка ясная, любимица императорской фамилии, а и то ей пришлось в конце концов подписать, и она участвует там в таких вещах, про которые страшно говорить вслух. Про которые страшно думать. Ну и вы согласитесь, ничего особенного, это не так обременительно, немножко информировать, иногда что-то передать... Дальше Шанхай. В Шанхае будет совсем плохо. И самое ужасное, что все узнают. Это не Париж, не Чикаго, там такое не спря-

чешь. И когда они узнают это про вас, у вас уже не будет никакого, совершенно никакого выхода — и тогда они наконец скажут: да. Можно, да. Мы разрешаем. По ходатайству нашей молодежи. И вы поедете назад и будете петь для нашей молодежи. То, что разрешат, и там, куда пошлют. Вы будете петь в глухой тайге, под расстроенное фортепиано, единственное на тысячу верст. Они, конечно, вас не сошлют, но вы будете жить под этим страхом вечно. И вы будете петь, ах да, какое совпадение, — вы будете петь именно про Севастополь. Весь седой, как серебряный тополь! Сколько стоил ему Севастополь! Вы будете стоять на сцене весь белый, вы всегда бледнеете от стыда, я знаю. И будете петь, сколько стоил ему Севастополь. Это если вы сейчас уедете. Но если вы останетесь со мной, вы никогда не будете петь, вы будете жить тихой жизнью, в городе у моря, в приморском городе! Мы будем ходить на базар, я буду предупреждать любые ваши желания. У нас будет лодка. И я могу быть одной, а могу быть другой, и мы будем встречать Новый год. Встречать Новый год не в кабаках, а вдвоем, ну, может быть, еще с моей теткой. Тетка нам не помешает, она потом умрет, мы потом тоже умрем, но гораздо, гораздо позже! Мы умрем очень скоро. Вы доживете до полета человека страшно сказать куда. У нас будет прибор дальнего видения.

— Все это очень хорошо, — прервал он наконец ее бред. — Очень хорошо и даже прекрасно. И я был бы счастлив с вами, с тобой. Даже с теткой. Но... — Он никак не решался спросить о главном. — Но. Тем не менее.

У него оставалось три минуты, меньше трех. В зале уже нетерпеливо шевелились.

— Но тем не менее, — решился он. — Что я еще напишу?

Это было главным, хотя он давно ничего не писал, и что можно было написать между ночными кутежами со Слащевым, который плевался шелухой от семечек и орал «Пока не кончатся семечки, я не сдам Крым!»? Что можно было написать в соседстве слащевской адъютантши Нины Нечволодовой? Последнюю песню сочинил он в девятнадцатом. Но ведь когда-нибудь, когда-нибудь он переживет еще это чувство, когда к нему приходила тема или строчка и когда он становился ненадолго равен себе? Неважно, что знали его как Пьеро. Он был поэт, и это понимали все остальные поэты. Он был поэт повыше Северянина, потому что слышал настоящую музыку, потому что первым додумался петь, пото-

му что знал, какое движение начнется с него; он был поэт и ради этого бежал отовсюду, потому что не себя берег, а небывалый дар, вдруг в нем проснувшийся.

Она смотрела на него с изумлением, и лисье личико даже слегка вытянулось.

— Что напишете, — пробормотала она, — что ты напишешь... Но какая разница, посмотри вокруг, какая разница? Кого это когда остановило? Надо не о том думать, что ты напишешь, а о том, как проживешь... Ты не сделаешь множества мерзостей, вот о чем надо думать... не напишешь, не услышишь множества ужасных вещей... когда сюда придут вот эти, неважно кто, мы успеем уехать, сюда все время будет кто-то приходить, такое место, но мы уедем и вернемся, и тогда останемся... Если ты уедешь и вернешься, о, на тебя будут смотреть совсем не так. Ты будешь объяснять им, что только изгнанник может любить Отчизну по-настоящему, а они будут смеяться тебе в лицо и обзывать шутом гороховым, шанхайским клоуном! О, у них будет долгая школа жизни здесь, и всякий, кто остался, сможет на тебя смотреть свысока. А если останешься, ты сам сможешь так смотреть на кого угодно, это такая наша манера, это всегда здесь так делается...

— Но что я напишу? — повторил он твердо.

— Ты... ты напишешь... Вот! — выкрикнула она вдруг.

Пусть свадебною лентою
Проходит наша жизнь,
Цветными комплиментами
Наполнен каждый миг.

Ведь пролетело сорок лет, —
В семье все тихо, ладно, —
И нас встречает, наконец,
Рубиновая свадьба!

— Что это?! — спросил он бледным шепотом.

— Это ты подаришь мне на сорокалетие нашей свадьбы. Сорок лет! — воскликнула она и снова затараторила:

Окреп рубиновый союз,
Как дорогие камни.
Пусть посещает радость, пусть,
Не закрывайте ставни!

Здоровых внуков и детей,
Взаимопониманья.

Пусть в свадьбы этой юбилей
Исполнятся желанья!

— Это написал тебе я? — спросил он, хотя все уже понял.

— Ты! — крикнула она с внезапной, дикой, совсем не ангельской мстительностью. — Ты! Мы пролистали юбилей: серебряный, сапфировый... Несли по жизненной аллее охапку чувств рубиновых! Пусть дарят нам сегодня розы, как этот камень, алые, и обойдут союз наш грозы, и радости ждут малые! Да, ты! Да, малые радости!

Она верещала так, что аккомпаниатор, поджидавший выхода, в ужасе на них оглянулся.

— Да! — повторяла она. — Но ты будешь на Родине, ты понимаешь, на Родине! На своей земле! Не в изгнание, не среди чужих, не вечным бродягой, ты будешь дома, вокруг тебя будут родные люди! Ты будешь дышать родным воздухом, плавать в русском море, хрустеть русскими яблоками! Ты всегда, когда пожелаешь, сможешь увидеть русский снег, и тебе не надо будет для этого унижаться, не надо будет ни с кем сотрудничать; ты будешь русский среди русских, в родном гнезде, как, я не знаю, патрон в патроннике!

Да! И слава богу, что ты больше ничего не напишешь, что ты не наденешь больше этот дурацкий балахон, что не запоешь больше козлиным голосом; ты думал, я люблю тебя за это? О нет, я единственная, о которой мечтает всякий мужчина, единственная, как Родина, — та, кто любит тебя за тебя самого!

— Александр Николаевич, — потянул его за рукав пианист, — пойдемте, публика ждет...

— Да-да, — кивнул он и пошел на сцену — петь невыносимо пахнущему, грязному залу бывших людей, петь бывшие песни под бывшую музыку.

Следующей ночью он без особенных сожалений отплыл на «Великом князе Александре Михайловиче».

Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена в электронной или механической форме, в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована в любой информационной системе без получения разрешения от издателя. Копирование, воспроизведение и иное использование книги или ее части без согласия издателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.

Литературно-художественное издание

Быков Дмитрий Львович

ПЕСНЬ ЗАПОЛЯРНОГО ОГУРЦА

О литературе, любви, будущем

Ответственный редактор Э. Салыхова

Выпускающие редакторы А. Лавриненко, А. Сергеева

Художественный редактор С. Власов

Технический редактор О. Лёвкин

Компьютерная верстка А. Щербакова

Корректор М. Колесникова

ООО «Издательство «Эксмо»

123308, Москва, ул. Зорге, д. 1. Тел.: 8 (495) 411-68-86.

Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru

Өндіруші: «ЭКМО» АҚБ Баспасы, 123308, Мәскеу, Ресей, Зорге көшесі, 1 үй.

Тел.: 8 (495) 411-68-86.

Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru

Тауар белгісі: «Эксмо»

Интернет-магазин: www.book24.ru

Интернет-дуken: www.book24.kz

Импортёр в Республику Казахстан ТОО «РДЦ-Алматы».

Қазақстан Республикасындағы импорттаушы «РДЦ-Алматы» ЖШС.

Дистрибутор и представитель по приему претензий на продукцию,

в Республике Казахстан: ТОО «РДЦ-Алматы»

Қазақстан Республикасында дистрибутор және өнім бойынша арыз-талаптарды

қабылдаушының өкілі «РДЦ-Алматы» ЖШС,

Алматы қ., Домбровский көш., 3-а, литер Б, офис 1.

Тел.: 8 (727) 251-59-90/91/92; E-mail: RDC-Almaty@eksmo.kz

Өнімнің жарамдылық мерзімі шектелмеген.

Сертификация туралы ақпарат сайты: www.eksmo.ru/certification

Сведения о подтверждении соответствия издания согласно законодательству РФ

о техническом регулировании можно получить на сайте Издательства «Эксмо»

www.eksmo.ru/certification

Өндірген мемлекет: Ресей. Сертификация қарастырылмаған

Подписано в печать 29.10.2018.

Формат 84x108¹/₃₂. Гарнитура «Чартер».

Печать офсетная. Усл. печ. л. 16,8.

Тираж 6 000 экз. Заказ № 5504.

Отпечатано в ООО «Тульская типография».

300026, г. Тула, пр. Ленина, 109.

ISBN 978-5-04-099112-9



9 785040 991129 >



ЕКСМО.РУ
новинки издательства



В электронном виде книги издательства вы можете
купить на www.litres.ru

ЛитРес:
один клик до книг



Оптовая торговля книгами «Эксмо»:

ООО «ТД «Эксмо». 123308, г. Москва, ул. Зорге, д. 1, многоканальный тел.: 411-50-74.
E-mail: reception@eksmo-sale.ru

По вопросам приобретения книг «Эксмо» зарубежными оптовыми
покупателями обращаться в отдел зарубежных продаж ТД «Эксмо»
E-mail: International@eksmo-sale.ru

*International Sales: International wholesale customers should contact
Foreign Sales Department of Trading House «Ekmo» for their orders.
International@eksmo-sale.ru*

По вопросам заказа книг корпоративным клиентам, в том числе в специальном
оформлении, обращаться по тел.: +7 (495) 411-68-59, доб. 2261.
E-mail: Ivanova.ey@eksmo.ru

Оптовая торговля бумажно-беловыми
и канцелярскими товарами для школы и офиса «Канц-Эксмо»:
Компания «Канц-Эксмо»: 142702, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное-2,
Белокаменнов ш., д. 1, а/я 5. Тел./факс +7 (495) 745-28-87 (многоканальный).
e-mail: kanc@eksmo-sale.ru, сайт: www.kanc-eksmo.ru

В Санкт-Петербурге: в магазине «Парк Культуры и Чтения БУКВОЕД», Невский пр-т, д. 46.
Тел.: +7(812)601-0-601, www.bookvoed.ru

Полный ассортимент книг издательства «Эксмо» для оптовых покупателей:
Москва. ООО «Торговый Дом «Эксмо». Адрес: 123308, г. Москва, ул. Зорге, д. 1.
Телефон: +7 (495) 411-50-74. E-mail: reception@eksmo-sale.ru

Нижний Новгород. Филиал «Торгового Дома «Эксмо» в Нижнем Новгороде. Адрес: 603094,
г. Нижний Новгород, ул. Карпинского, д. 29, бизнес-парк «Грин Плаза».
Телефон: +7 (831) 216-15-91 (92, 93, 94). E-mail: reception@eksmo-nn.ru

Санкт-Петербург. ООО «СЗКО». Адрес: 192029, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны,
д. 84, лит. «Е». Телефон: +7 (812) 365-46-03 / 04. E-mail: server@szko.ru

Екатеринбург. Филиал ООО «Издательство Эксмо» в г. Екатеринбурге. Адрес: 620024,
г. Екатеринбург, ул. Новинская, д. 2ш. Телефон: +7 (343) 272-72-01 (02/03/04/05/06/08).
E-mail: petrova.ea@ekat.eksmo.ru

Самара. Филиал ООО «Издательство «Эксмо» в г. Самаре.
Адрес: 443052, г. Самара, пр-т Кирова, д. 75/1, лит. «Е».
Телефон: +7(846)207-55-50. E-mail: RDC-samara@mail.ru

Ростов-на-Дону. Филиал ООО «Издательство «Эксмо» в г. Ростове-на-Дону. Адрес: 344023,
г. Ростов-на-Дону, ул. Страны Советов, д. 44 А. Телефон: +7(863) 303-62-10. E-mail: info@rnd.eksmo.ru
Центр оптово-розничных продаж Cash&Carry в г. Ростове-на-Дону. Адрес: 344023,
г. Ростов-на-Дону, ул. Страны Советов, д. 44 В. Телефон: (863) 303-62-10.

Режим работы: с 9-00 до 19-00. E-mail: rostov.mag@rnd.eksmo.ru

Новосибирск. Филиал ООО «Издательство «Эксмо» в г. Новосибирске. Адрес: 630015,
г. Новосибирск, Комбинатский пер., д. 3. Телефон: +7(383) 289-91-42. E-mail: eksmo-nsk@yandex.ru
Хабаровск. Обособленное подразделение в г. Хабаровске. Адрес: 680000, г. Хабаровск,
пер. Дзержинского, д. 24, литера Б, офис 1. Телефон: +7(4212) 910-120. E-mail: eksmo-khv@mail.ru

Тюмень. Филиал ООО «Издательство «Эксмо» в г. Тюмени.

Центр оптово-розничных продаж Cash&Carry в г. Тюмени.

Адрес: 625022, г. Тюмень, ул. Алябашевская, д. 9А (ТЦ Перестройка+).

Телефон: +7 (3452) 21-53-96/ 97/ 98. E-mail: eksmo-tumen@mail.ru

Краснодар. ООО «Издательство «Эксмо» Обособленное подразделение в г. Краснодаре

Центр оптово-розничных продаж Cash&Carry в г. Краснодаре

Адрес: 350018, г. Краснодар, ул. Сормовская, д. 7, лит. «Г». Телефон: (861) 234-43-01(02).

Республика Беларусь. ООО «ЭКМО АСТ Си энд Си». Центр оптово-розничных продаж

Cash&Carry в г. Минске. Адрес: 220014, Республика Беларусь, г. Минск,

пр-т Жукова, д. 44, пом. 1-17, ТЦ «Outleto». Телефон: +375 17 251-40-23; +375 44 581-81-92.

Режим работы: с 10-00 до 22-00. E-mail: exmoast@yandex.by

Казахстан. РДЦ Алматы. Адрес: 050039, г. Алматы, ул. Домбровского, д. 3 «А».

Телефон: +7 (727) 251-59-90 (91, 92). E-mail: RDC-Almaty@eksmo.kz

Интернет-магазин: www.book24.kz

Украина. ООО «Форс Украина». Адрес: 04073 г. Киев, ул. Вербовая, д. 17а.

Телефон: +38 (044) 290-99-44. E-mail: sales@forsukraine.com

**Полный ассортимент продукции Издательства «Эксмо» можно приобрести в книжных
магазинах «Читай-город» и заказать в интернет-магазине www.chitalai-gorod.ru.**
Телефон единой справочной службы 8 (800) 444 8 444. Звонок по России бесплатный.

Интернет-магазин ООО «Издательство «Эксмо»

www.book24.ru

Розничная продажа книг с доставкой по всему миру.

Тел.: +7 (495) 745-89-14. E-mail: Imarket@eksmo-sale.ru

**Писать в «Русский пионер»
Дмитрий Быков начал три
года назад и, как многие
авторы этого издания,
печатал там в основном
то, что напечатать
где-нибудь еще было
невозможно.**

*Эта книга — откровенные и смелые
высказывания на заданную тему.
Дмитрий пишет о литературе, любви,
будущем и много еще о чём.*

**Каждая новая страница —
часть одной большой
системы, структуры,
сети: какой — поймет
внимательный
читатель.**



ISBN 978-5-04-099112-9



9 785040 991129 >